

СЕРГЕЙ
ГАЛУШКИН

Ни в Кондевске куки
Детектив

Сергей ГАЛУШКИН

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ

издательство
ИРИНЫ ГУДЫМ
НИКОЛАЕВ - 2005

ББК 84 (4Укр-Рос) 6-4

УДК 821.161.2

Г 16

Иллюстрации художника Александра Ипатьева

Г 16

С. Галушкин. НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ. —
Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2005. —
112 с., илл.

ISBN 966-8592-19-0

"Николаевский детектив" — сборник очерков и рассказов о городе полувековой давности, о ныне живущих и о тех, кого уже нет с нами. Это не воспоминания, а лирические этюды об улицах, домах, а главное — о том, чем жили тогда и чем живут сейчас николаевцы, об атмосфере южного города, об уголках, дорогих и близких каждому, кто умеет ценить по капле уходящую жизнь.

ББК 84 (4Укр-Рос) 6-4
УДК 821.161.2

ISBN 966-8592-19-0

© Издательство
Ирины Гудым, 2005
© С. Галушкин, 2005
© А. Ипатьев
(иллюстрации), 2005

*Друзьям, родным, знакомым, малознакомым
и незнакомым николаевцам посвящаю.*



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

(Вместо предисловия)

Пятнадцати лет от роду я возненавидел родной город. Летом он покрывался пылью. Ветер носил её вместе с мелким мусором по улицам, распланированным фантазией учителя геометрии. Осеню пыль превращалась в грязь.

Мы жили в пяти минутах ходьбы от главной проходной завода имени Андре Марти. Этот французский коммунист чем-то не угодил нашим коммунистам и завод некоторое время был безымянным. Потом ему присвоили имя министра судостроения И.И. Носенко. Даже памятник выдающемуся земляку поставили на площади перед проходной завода. Однако сын министра, майор госбезопасности, оказался на ПМЖ за пределами социалистического лагеря (то ли попросил политического убежища за границей, то ли его выкупали американские спецслужбы — до сих пор толком никто не знает) и тем самым скомпрометировал папу. Отец за сына, видимо, как-то ответил, и завод опять утратил имя. Смертного, достойного завода, не находилось, а именами бессмертных в эпоху воинствующего атеизма места скопле-

ния пролетариата называть было не принято. Завод наименовали обезличенно и потому безнадёжно — Черноморским.

Я помню ещё то время, когда после гудка мрачные мужчины и мужеподобные женщины шли с завода в засаленных негнущихся робах, в сапогах или ботинках, называемых одними стыдливо "гадами", другими откровенно грубо "говнодавами", и чисто одетый человек провоцировал в них взрыв чувства классовой ненависти. В этом многотысячном потоке гнутых спин, переживших войну, и утративших оптимизм глаз чувствовалась одновременно и страшная сила и безысходная покорность.

На всём ещё были следы войны: несколько разрушенных зданий, одна из станционных платформ за путями, на которую свозили фрагменты боевой техники из окрестностей города и которая почему-то называлась "рамкой", а главное — разговоры. Война жила в памяти, была свежа в памяти, память поделила жизнь на "войну" и "до войны". "После войны" ещё не ощущалось как прошлое.

Я помню отцовы разговоры с товарищами за рюмкой водки. О чём бы ни говорили эти ещё молодые сильные мужчины, беседа так или иначе приходила к войне. И если они вспоминали отдельные фронтовые эпизоды, то это были случаи конфуза, розыгрыша или шутки. Рассказы о геройстве исключались. Тема подвига вообще считалась как бы неприличной.

Много лет спустя я понял, что верхом бесчеловечности было требовать от ветерана правдивого рассказа о войне. Это заставляло его ещё раз переживать ужас касания смерти. И ещё я понял, что человек, много и подробно рассказывающий о своих подвигах на фронте, или бесчувственное полено или, что вероятнее всего, пороха никогда не нюхал. Когда я служил срочную службу в учебном отряде, старшиной роты у нас был Герой Советского Союза мичман Куркин. Он дослуживал до пенсии, и потому единственной его обязанностью было несколько раз в году выступать перед молодыми матросами с рассказами о войне. Оратор он был никакой, тем безыскусней и искренней звучали его рассказы. Так вот, этот мичман каждый раз после выступления напивался до бесчувствия, а потом два-три дня не появлялся на службе. Начальство гуманно закрывало на это глаза.

В кругу товарищей отца о войне говорили отвлечённо-философски, если можно так сказать о людях, единственным университетом которых была опять-таки война. Они говорили о Жукове, Сталине, Монтгомери, Рокоссовском, Черчилле, Рузвельте, о рядовых немцах или наших, но никогда о Гитлере.

Один раз отец посмотрел какой-то фильм о войне и сказал, что в нём нет "ни грамма правды". Он вообще не любил кино как всякую ложь, но особенно картины о войне. Наверное, потому, что они провоцировали воспоминания.

А мы, пацаны, кино, а особенно "про войнуху", могли смотреть бесконечно. Мы читали о войне, мы играли в войну, причём иногда довольно жёстко. Однажды соседка, торговка семечками, стала нас бранить, до каких, мол, пор будем мы играть в этот ужас. На что моя мать резонно возразила: пусть лучше играют в войну, чем воюют.

Те, которые не погибли, остались в войне. Их жизнь не имела будущего. Там многое зависело от тебя самого: от твоего личного мужества, выносливости, терпения, способности любить и ненавидеть. Там слабый чувствовал себя сильным, трус должен был стать смелым.

Здесь побеждали другие. Зарплата трудолюбивого и мастеровитого почти ничем не отличалась от зарплаты ленивого. Даже возможность построить своими руками жильё была ограничена иезуитскими постановлениями о количестве квадратных метров на человека и справками, подтверждающими честный способ приобретения стройматериалов. А государство строило не торопясь.

Мы жили на десяти квадратных метрах, один из которых занимала печка, вчетвером: отец, мать, бабушка и я. Это называлось квартирой, наверное, потому, что всё было в одном. Этакий совмещённый вариант кухни, спальни, сортира и гостиной. Полгода дрянным углем топилась печь. Летом мать готовила на примусе. Так жили многие. Деревянный нужник во дворе часто переполнялся, и зловонный ручей вытекал на улицу. Проходило несколько дней, а то и недель прежде, чем приезжал золотарь. Кляча, запряжённая в телегу с бочкой, умом мало отличалась от немилосердного возницы, который ведром, прикреплённым к концу шеста, вычерпывал из отхожего места жижу, наполнял бочку, а потом дурным голосом орал на лошадь, разворачивая телегу. Кляча шарахалась, ис-

путанно и покорно косясь на хозяина, а жижа выплескивалась и стекала по бокам бочки, отчего смрад становился ещё невыносимей. И это не в восемнадцатом веке...

Конечно, был ещё детский сад, школа, пионерский лагерь. Но это всё было преходящим и как бы ненастоящим, вроде игры. Подлинным и неизменным казались пыль, грязь, вонь, мат, серое, бесцветное, пошлое, беспросветное существование. Страшно было думать, что такая жизнь ожидает и тебя.

Жизнь отцов проходила перед нами. Они были заложниками квартирных очередей и гудков, вынуждены были безропотно выполнять планы, постановления, решения, которые принимались без их участия. Они строили корабли или помогали их строить. Корабли уходили. Они строили другие. И те уходили. А в их жизни ничего не менялось.

Хотелось поскорее стать взрослым и жить иначе. А ведь была другая реальность. Я говорю не о кино и книгах, хотя и они, как звёзды, сигналили об иных мирах и тоже вымыщенных. Блатная среда манила своей романтикой, жаргоном, гонором и многие поддавались и погибали, как карманник-виртуоз Гришка Шершебок, вытащивший у тётки в терновском автобусе деньги из лифчика, за что она, опомнившись, разрубила пополам его беспутную голову сапкой.

И была реальность третья — для немногих, избранных. Они принимали решения, организовывали и направляли. Они жили и работали в нормальных условиях, их охраняли и возили в легковых автомобилях.

Выбор жизненного пути был ограничен: завод, тюрьма, партийная карьера. Наиболее самоуверенные уезжали в Москву, Ленинград, Киев, Одессу, к чёрту на рога, куда угодно. Николаев не давал им возможности реализоваться. Многие исчезали бесследно. Единицам улыбалась удача.

Ненависть к родному городу тогда казалась чувством прочным и постоянным. Должен был пройти не один десяток лет, нужно было пролететь, проехать, пройти не один десяток тысяч километров, чтобы проснулась любовь.

Я полюбил этот по-настоящему родной город и край, людей, которые жили и умирали здесь, старые дворы и улицы, знакомые с детства. Тут жили и живут мои друзья и недруги, любимые и совсем незнакомые люди. И город изменился. Он стал красивее и чище.



ПРОГУЛКИ ПО СОВЕТСКОЙ

— Вы видели меня или по Советской?
— Нет, я видела или вашу мать.
(Николаевская шутка)

1

Николаеву не повезло. Если бы азовский поход Петра I сложился удачно и вместо турок были бы шведы, стоял бы первый русский император на другом берегу пустынных волн и думал бы о другом надменном соседе и другом городе.

Да вы только представьте себе: на месте бывшего обкома партии — Зимний дворец, Соляные — это Петроградская сторона, вместо Выборгской стороны — Варваровка, а Охта — Большая Корениха. И везде — мосты, мосты. И нет выморочных белых ночей. И абрикосы вместо морошки. И Пушкин на Советской, и Товстоногов в театре, и Ахматова в Широкой Балке, и Ленин с Каменевым в шалаше под Матвеевкой, и в Яхт-клубе — "Аврора"...

Была, видимо, у Григория Александровича Потемкина честолюбивая мечта уподобиться Петру, но что-то там в горных сферах напутали, а может и задумано было так, чтобы получилось не Адмиралтейство, а заводоуправление и вместо десяти Советских — одна.

Почему она Советская, кстати? Ну, раньше, ещё до того, она была Соборной. Так это понятно. Стоял когда-то собор там, где памятник Ленину. У нас ведь семьдесят три года всё было советское. То есть, по идеи, всё свободное, равное и братское. Одним словом, одинаковое. Можно понять питерцев. Те называли Советскими десять по-петербургски безликих улиц. А у нашей разве нет лица? Есть, и ещё какое!



Эта улица, как женщина, загадочна, непредсказуема, как курс гривни, и, как уличный кот, самостоятельна. У неё свой темперамент и нрав. Она требовательна и нежна, исполнена достоинства и снисходительно-иронична к тем, кто ходит себя ей показывать.

Да, николаевцы любят показывать себя Советской — сдавать слегка волнующий экзамен на звание "своего". Так было и в 50-е и в 60-е, а по рассказам и до Великого Октября, так продолжается до сих пор.

Она меняется усилиями людей, но происходит это как бы по её воле.

Ещё полсотни лет тому на месте "Сказки" и Дворца судостроителей был рынок. Отдельные аборигены и улицы те называют ещё по старинке — Сенная, Привозная, Рыбная. От Декабристов, бывшей Глазенаповской, вниз к Советской шли рыночные ряды — крашенные милым теперь зелёным цветом деревянные прилавки под навесами — овощной, мясной, рыбный, даже винный. Здесь торговали частники. Посередине тянулся павильон для продукции кооперативов.

Чего только ни было в тех рядах. Везли даже из Молдавии и Крыма, не говоря уже о своих. Поражал изобилием рыбный ряд. Выбор мог удовлетворить самые изысканные рыбные вкусы. Здесь продавали обычных лещей, карасей и священных в Японии карпов; щуки, судаки, камбала, кефаль, неизменные бычки и раки грудами лежали на столах. Продавали икру обоих цветов, можно было купить белую и красную рыбу, попадались даже муксун или кержуч. И всё это шевелило жабрами, хвостами, плавниками, клешнями, дышало, взбрыкивало, подпрыгивало. Запах свежей рыбы держался даже при сильном ветре.

Известную часть посетителей привлекал винный ряд. Тут были свои порядки. Вина молдавские и крымские, херсонские и местные, десертные и столовые, выдержаные и ординарные составляли выбор. Чаще всего их привозили в оплетённых пяти- и десятилитровых бутылях. У каждого торгающего был стограммовый гранёный стаканчик. Полстаканчика вина полагалось на пробу.

Этим пользовались. Были даже такие специалисты, которые умудрялись пробовать весь день, но их быстро разоблачали, и достижение результата становилось проблематичным.

К инвалидам относились с пониманием. Одноруких и одногоногих, вовсе безрукых или безногих, слепых, обожжённых, контуженных было очень много. С палками, на костылях, с поводырями, на самодельных деревянных колясках с подшипниками вместо колёс они перемещались по рынку в поисках заработка, а чаще милостыни. Счастлив был тот, кто до войны научился играть на баяне и не потерял рук. Был такой, кажется, дядя Вася, слепой, без обеих ног. Его сопровождала жена. Он играл на баяне и пел. Репертуар состоял из душепривлекательных песен. Сам он предпочитал:

*Подайте, граждане, подайте
Из ваших мозолистых рук —
Я Льва Николайча Толстова
Незаконнорожденный внук.*

Он раскачивался в такт, как мусульманин, и из пустых глазниц капали на обезображенное лицо слёзы. Он не пил, и за это его уважали.

Много было безногих сапожников и чистильщиков обуви (тогда полстраны имело отношение к армии, а младший и средний офицерский состав любил подчёркивать свою привилегированность — мне чистят сапоги). А вот у безруких возникали сложности с работой. В мясорубку войны попали только части их тел. Жалость к себе и зависть к погибшим и живым, но здоровым травила их души. Многие из них требовательно попрошайничали.

В первую очередь от инвалидов страдал винный ряд. Редкий виноторговец мог отказать калеке. Были, правда, и гордые инвалиды. Они за вино платили, но опять-таки подаянием. В любом случае всё вело к одному результату. Во второй половине дня появлялись неаккуратные крикливые бабы. Разыскав своего, с проклятиями и руганью добрая фурия тащила инвалида под крышу мазаной конурки. Одино-

кие, если не могли добраться до дома сами, устраивались на послеобеденный отдых здесь же.

Уже после смерти Сталина в 50-е годы инвалиды вдруг в одночасье исчезли. Поговаривали, что их всех в одну ночь собрали и вывезли куда-то на Соловки, где вместо лагеря якобы сделали госпиталь-курорт. Память об ужасах войны начали укладывать в идеологическую схему. Живая плоть памяти уступала место бронзе и граниту.

От рынка начиналась Советская. Не административно начиналась. От рынка шли на Советскую по делам. Отсюда начинали прогуливаться. До Херсонской была как бы разминка. От Херсонской тянулось семь кварталов подиума Советской.

2

Советская — это одна большая тусовка (наверное, от "туза" и "тасовать"). Вступающий на неё слегка напряжён — кажется, что улица ожидает именно его. И именно для него готовят смутно предвкушаемое приключение. И почти никогда не обманывает. Она удовлетворит и искателя романтических знакомств, и любителя ягодных мест. Футбольный фанат найдёт здесь единомышленника и оппонента, библиофил — редкую книгу, хулиган — достойного соперника, а охотник выпить за чужой счёт вернётся домой подшофе.

Итак, выход! Зрение обостряется, обоняние становится тоныше, уши фильтруют звуки. У всех. Исключений нет. Презирающий презирает активней. Безразличный ещё более безразличен. Любящий — само собой.

50-60-е годы. Авансцена — проспект Ленина угол Советской. Впереди вся улица до бульвара и вся жизнь длиной в вечер.

По правую руку до Католической-Мархлевского-Адмирала Макарова тянется капитальное с заложенными оконными проёмами и потому малопривлекательное здание обувной фабрики, а вот слева, там, где теперь "Сотка", — двухэтажные дома постройки XIX века. Немного не доходя до Совет-

ской, если идти от Декабристов, почти на углу — столовка — столовка, а что-то рангом вроде вареничной-пельменной. Сейчас бы сказали — кафе. Здесь наливают и на тех, кто приносит, смотрят сквозь пальцы. Вытяжной вентилятор из кухни веет на улицу чем-то противно-заманчивым. У турнicketа вдоль стены (тогда почему-то вдоль всех торговых фасадов с витринами были турнicketы) стоят закусившие мундштуки папирос парубки, отслужившие армию и помоложе, и оценивают прохожих. Они непременная составляющая городского ландшафта. Довольно громкие и не вполне безобидные шуточки преследуют одну цель: блеснув остроумием, самоутвердиться в глазах приятелей, поэтому реагировать на них глупо.

Идущие этим путём частенько сворачивают в столовку. На столах скатерти, тарелки с нарезанным хлебом и приборы с солью, перцем и горчицей. Конечно, они предназначены для тех, кто будет столоваться, однако и совсем неимущий кусок-другой хлеба с горчицей может съесть безнаказанно.

Не помню, то ли в предбаннике — назвать "фойе" язык не поворачивается — столовой продавали газированную воду, то ли рядом, в небольшой нише за дверью. Кроме газировки жаждущему предлагался выбор вин. Самым популярным было "Біле міцне". Пользовался уважением недорогой "Портвейн таврический". Любители могли побаловаться марочным крымским "Мускатом" или "Кокуром", но они предпочитали более шикарные места.

Стаканчик портвейна — кривая настроения ползёт вверх — можно начинать движение. Поворот на Советскую. Небольшой гастроном с мясным отделом, где всегда был мясник, но никогда не было мяса, парикмахерская, магазины "Одежда" и "Ноты" проплывают слева по борту. Скучающие недалеко от входа в гостиницу девицы не привлекают внимания: их дичь — командированные. Что показывают в "Ильича" и "Дружбе" — любопытно, но кино на сегодня не запланировано. Весенний и тлетворный дух влечёт дальше.

Проплывают несколько знакомых лиц. Кивки, поклоны, рукопожатия — в зависимости от степени знакомства и ува-

жения. Несколько девиц, волнуясь линией бедра, проходят мимо. Их неприступный вид говорит о том, что они не прочь познакомиться.

Слева ресторан. Его название несколько раз менялось, а в народе стойко держится — "Три шара", по количеству фонарей над входом с шарами-плафонами. Ресторан демократический. Сюда заходят с зарплаты, премии или "левого" заработка. Дежурное блюдо — "поджарка из свинины" — не зафиксировано в кулинарных книгах. Рецепт прост, как инфузория: обжаренные обрезки свинины с гипотетическим количеством специй, гарнир — жареная картошка (заметьте, не "картофель"). Вкус — средней противности. Обстановка почти домашняя. Дым — слоистыми облаками. Звучит "живая" музыка — "Танго смерти". Каждый говорит о своём и не слышит другого. Женская половина как всегда жаждет танцевальных объятий. Здесь можно застремлять на весь вечер, а это неинтересно. Беззаконной кометой среди таких же нерасчисленных светил движемся дальше.

Угол Шевченко. "Магазин Когана". Да-да, это теперь здесь "Детский мир", а тогда стоял двухэтажный дом из красного кирпича. (Кладка изумительная. Говорят, этот кирпич испытывали на прочность, бросая с семиметровой высоты на цементный пол. Если он раскалывался, браковали всю партию. Причем это на нашем кирпичном заводике делали. Из этого кирпича построены и водолечебница, и костел, и еще несколько зданий.) Первый этаж — гастроном. Узнав, что есть еще несколько магазинов Когана, я по детской наивности думал, что некий мифический Коган был их владельцем до революции или во времена НЭПа. Оказалось — это вполне реальный завмаг. Его, как это было принято, перемещали из одного магазина в другой, он давно уже не работал на этом месте, а люди все равно говорили: "Иду к Когану". Магазин мало чем отличался от других, просто по сложившейся традиции их называли по фамилии или имени завмага.

Дом снесли и в начале 60-х торжественно открыли ЦУМ — Центральный универсальный магазин. Воображение горожан было потрясено техническим прогрессом. Зи-

мой при входе через забранные решёткой бойницы в стенах подавался теплый воздух. Пацаны кучковались здесь, оттаивая, и сшибали со сверстников по десять копеек.

Невидимый магнит заставляет идти дальше — к НУЛЮ. "Нуль" — Советская угол Плехановской. К сожалению история утратила имя крестника этого нервного узла, солнечного сплетения всего организма Советской. Это было место встреч, здесь намечались планы на вечер, отсюда начиналась их реализация. Нужно было быть не просто математиком, а философом, чтобы увидеть в этом перекрёстке аналогию с системой координат, где нуль — начало и конец всего.

К этому средостению стремились футбольные фанаты, чтобы обсудить взлёты и падения "Судостроителя", киевского "Динамо" или сборной. Здесь поздним вечером расставались до скорой встречи утомлённые гуляки.

Вперёд — к нулю, а там — посмотрим!

3

"Нуль" — особое, по-своему священное место по меньшей мере для двух поколений николаевцев. Оно достойно хотя бы песни. Но увы, наши дарования рвутся в столицы, в бесовщине богемных дионисий забывают вскормившую их провинциальную титьку и стыдятся своих запачканных пелёнок. А "Нуль" вполне мог бы стать в одном ряду с "Каретным рядом", "Пятью углами", где Саша Соколов получил по морде, и той же "Мясоедовской улицей" — хитом кабаков 70-х.

Ушедшие годы здесь почти ничего не изменили, только пятиэтажка возникла с пока ещё книжным магазином. Однако собственно "Нулём" называли тот угол, где и теперь находится двухэтажный дом. Так и говорили: "Встретимся на Нуле". Хотя известная часть тусовки, чуждая математики и поэзии, не улавливала тонкого смысла метафоры и выражалась прозаически — "на рогу".

В нескольких метрах от угла вверх по Плехановской была торговая точка "Соки-воды". От весны до осени витрина открывалась, и широкий длинный подоконник, кажется, даже серого мрамора становился прилавком. Газированную воду продавали прямо на улицу. Внутри магазинчика тоже продавали газировку, но ещё и соки, сигареты, одно время даже вино, потом пиво.

К воде, насыщенной углекислым газом, у горожан сложилось какое-то особенное отношение. Прежде всего, воду пили компанией, а потом это была не простая вода, так как за неё нужно было платить, то есть вступать в экономические отношения. Очередь состояла в основном из мужчин, жаждущие дамы стояли неподалёку, и кавалеры подавали им воду.



Прибор для розлива воды тоже достоин внимания. Две стеклянные градуированные мензурки диаметром около пяти и высотой около сорока сантиметров и с краниками внизу крепились вертикально к металлической оси так, что получалось похоже на буквы Ш и Ж одновременно. Ось в свою очередь подсоединялась к крану, через который по давалась вода. В мензурки наливали сироп, и одно деление на шкале мензурки отвечало порции сиропа на стакан воды. Утомлённые жаждой выпивали воду и обсуждали её каче-

ства. Впрочем, здесь вода всегда была и хорошо газированной, и достаточно охлаждённой. Точка держала марку.

Внутрь "Соков-вод" заходили по большей части любители вина, но тут они надолго не задерживались. Их больше привлекал "Папин мир" или "Рваные паруса". Конечно, так окрестили оба пункта общественного питания анонимные острословы. Официальные же власти давали такие названия, что можно было заподозрить в них кастраторов: "Лето", "Дружба", "Весна", "Встреча", "Космос", "Южный" и т. п.

В оба заведения путь начинался также от "Нуля". "Папин мир" расположился посередине квартала между Плехановской и Большой морской как раз напротив подворотни Советской, 3. Называли его так в оппозицию "Детскому миру", но где в те времена был этот магазин, память не сохранила. Может быть, его вообще не было, и тогда такое народное название говорило о лёгком политическом фрондизме публики.

Вступавший в "Папин мир" окунался в густой винный дух и плавающий слоями табачный дым. В помещении было, по-моему, два зала: дегустационный и торговли на вынос. В первом из облицованной деревом стены выступали краны, из которых наливали вино. Над каждым из них висел ценник. К стакану вина полагалась обязательная конфетка. Пока мамаша таскала детей по магазинам, отец успевал насладиться краткосрочной свободой и выкушать стаканчика три винца. Конфеты придерживал. Женщины сюда почти не заходили, и частенько из атмосферы винной эйфории папашу извлекал сынок, получая конфеты в качестве трофея.

"Папин мир" как заведение стоячее не пользовался популярностью у любителей хмельных дискуссий. Этому требованию как нельзя лучше удовлетворяли "Рваные паруса". Так наименовали сразу два места на обоих углах Московской и Плехановской — крытые парусиновыми тентами общепитовские точки с холодными и горячими закусками. Одно из них потом окультурили и получилось кафе "Лето", другое исчезло. В "Рваных парусах" стоял ровный гул нескольких десятков мужских голосов. Изредка он повышался в каком-либо месте и опадал, как прибой. Все разговоры ве-

лись по как будто бы раз и навсегда кем-то утверждённому плану. Переход к очередному пункту происходил по мере повышения степени опьянения. Начинали обычно с работы. После второй-третьей рюмки (это для изящества, подавали там только граненые стаканы) разговор плавно перетекал в плоскость политики, следующим пунктом были женщины, девушки, бабы, любимые, стервы... Потом сквозной мотив терялся, кто-то говорил уже ни о чём, кто-то молчал, не находя слов, чтобы выразить всю глубину души и любви к друзьям-товарищам, жалости к себе.

В "Рваных парусах" выпивали слесари, инженеры, студенты, сварщики, учителя, связисты, судосборщики, тренеры, моряки, трубогибщики, конструкторы, электрики, теплотехники, маляры, технологии, комсомольцы, беспартийные и члены партии, семейные и холостые, убеждённые сталинисты, правоверные ленинцы и махровые антисоветчики, выпивали уголовники и милиционеры, чекисты, браконьеры, парикмахеры, мелкие чиновники, врачи, военнослужащие, отставники, пессимисты, великодушные, остроумные, глупые, талантливые и посредственности, благополучные и бомжеватые — словом, вся социальная структура общества неслась на рваных парусах к состоянию, в котором потребность к исповеди можно было реализовать, ни к чему не обаязывая ни себя ни исповедника.

И в какой бы подобный шалман или приличней вас ни занесла судьба, всюду вы могли наблюдать, как незнакомые, малознакомые и близкие люди говорят убеждённо, растерянно, искренне, возбуждённо, с раскаяньем или яростью, сомневаясь или утверждая, размышляя или уже много раз всё обдумав, об одном и том же — они говорят о жизни и её смысле, о любви и ненависти, о добре и зле, о всех тех проклятых вопросах бытия, которые, казалось, раз и навсегда разрешила советская власть, но которые всплывали со дна души, беспокоили захмелевшие головы и заставляли развязавшиеся языки искать слова.

"Любите книгу — источник знаний. М. Горький." При каких обстоятельствах сказал эту фразу отец пролетарской литературы не упомянут, наверное, даже знатоки его творчества. Может, он сказал это полуёжа на кожаном диване с рюмкой водки в левой руке? Нет, полуёжа, с рюмкой — неудобно.

Представим себе такую мизансцену: Капри, скромный домик пролетарского писателя. Горький — слегка приступжен — полулежит на кожаном диване с сигнальным экземпляром книжки "Материализм и эмпириокритицизм" в руках. Слышино, как сердито поскрипывает перо в смежной комнате. Это Владимир Ильич в очередной работе громит ренегатов и филистеров экономистов. Входит махист Богданов с бутылкой русской водки и двумя рюмками в руках и говорит: "Что же это вы, батенька Алексей Максимович, расхворались? Читаете всякие глупости, и это вас расстраивает. Я вот вам водочки отечественной, нашей привёз. Лучшее лекарство от всех болезней. Выпьете рюмочку, согреетесь, и это вас развеселит". "Насчёт водочки это вы правильно говорите, если умеренно, конечно, — как положено, окая, отвечает Горький. — А насчёт глупостей, Александр Александрович, напрасно". — Приподнимается, берёт рюмку и вот здесь как раз и говорит, ну вроде бы как тост: "Любите книгу — источник знаний".

А может быть, он обронил эту оригинальную мысль, когда посещал Соловки и зашёл в библиотеку, где заключённые держали газеты вверх ногами, чтобы пролетарский гуманист понял, какого ваньку из него делают гепеушки?

Короче, не знаем, когда и где. Сказал — и сказал. Для нас важно другое. Этот оригинальный афоризм украшал верхнюю часть фасада книжного магазина на углу Советской и Плехановской. Здесь и сейчас ещё книжный магазин, только дом вместо двухэтажного — пятиэтажный.

На коричневом поле стеклянного транспаранта хорошо выделялись буквы из прописей, написанные золотым, и

застревали в глазу не только пионера. В соседнем доме (Советская, 3) жил горький запивашка Боргомакс. Имя его мало кто знал, а кличка была им самим спровоцирована, потому что из сознания, замкнутого алкоголем накоротко, он мог извлекать только одну фразу, которую утробным рыком повторял с постоянством метронома: "Ария Боргомакса". Так вот, даже Боргомакса за несколько лет пробил этот афоризм, и однажды, проходя мимо магазина в туфлях на босу ногу без шнурков, в когда-то белой рубахе и чёрных (тоже когда-то) штанах, он вместо того, чтобы отрыгнуть обычное — "Ария Боргомакса", — вдруг проревел: "Любите книгу, — остановился, как будто уткнувшись в эти слова, повёл коровыми глазами по сторонам и потерянным голосом довёл мысль до конца, — источник знаний".

Убеждать же николаевцев в пользу любви к книге необходимости не было. Книгу любили и даже с избытком. И как всякая любовь, эта тоже стремилась к полноте обладания.

В так называемую "хрущёвскую оттепель" на прилавках магазинов появились книги, о каких в предшествующие три десятилетия мечтать — было криминалом. Мгновенно разошёлся томик стихов Есенина, оформленный среднерусскими ботаническими мотивами. Стали выходить первые тома собраний сочинений Лескова и Достоевского. Подписаться на "Новый мир" Твардовского можно было только по блату. Свежестью потянуло от едва приоткрытой журналом "Иностранный литература" двери в зарубежную культуру. Попытки журнала "Октябрь" реанимировать сознание и жизненный уклад сталинской эпохи воспринимались иронически. С лёгкой руки Катаева молодёжная жизнь не представлялась без журнала "Юность". И всё это выписывалось, раскупалось, в библиотеках стояли очереди на очередной номер, обсуждалось, при этом эмоции всегда преобладали над разумом.

Литературные мэтры, подмочившие свою репутацию в сталинские времена, торопились как-то себя реабилитировать. Благодаря, например, Симонову советский читатель познакомился с Хемингуэем. Читали его запоем. А портрет

седобородого Папы Хэма в квартире был знаком интеллигентности и намёком на умеренное вольнодумство хозяев.

Быстро стала популярной практика подписных изданий. Магазин "подписных" находился тогда рядом с переговорным пунктом на Советской, а потом его переместили на Плехановскую между той же Советской и Московской. Когда объявили подписку на собрание сочинений Фейхтвангера, на Советской собралась невиданная толпа, хотя на получение вожделенных красных томов могли рассчитывать не более ста человек. Тут же были установлены жёсткие правила, по которым отлучившийся из очереди выбывал. Люди дежурили всю ночь, и к открытию магазина накал страсти отдалённо напоминал ситуацию, предшествовавшую Иудейской войне. Книжный синедрион прибег к помощи милиционского легиона, и под недоумённым наблюдением стражей порядка обошлось без членовредительства. Разумеется, такая практика не могла считаться справедливой, и уже подписку, например, на полное собрание сочинений Достоевского разыгрывали по лотерейному принципу.

Очень быстро появилась мода на книги. Книга стала престижной. Аккуратно выстроенные тома за стёклами шкафов сигналили не только о благополучии. Чаще всего это были дома людей, которым не приходилось выстаивать в очередях или стаптывать башмаки в поисках томика Бальмонта или "Избранного" Бабеля. Им звонили из книгоряда и предлагали то, что считалось престижным. Обычный джентльменский набор состоял из классиков английской, немецкой, французской, русской, американской литературы, а предметом особенной гордости уже в 70-е годы были все двести томов Библиотеки всемирной литературы. Книги эти почти никогда не открывались и со временем усилиями чад, для которых были приобретены, благополучно перетекали в букинистические магазины, а оттуда преимущественно к настоящим книгоочеям.

Букинистических магазинчиков было два, вернее, сначала один — на Советской между Шевченко и Макарова, а потом открыли подвалчик на Советской, 13. Здесь всегда

можно было встретить одних и тех же людей, перебиравших книги. Все они были знакомы или хотя бы знали друг друга в лицо, и в любом случае они знали круг интересов каждого и ревниво следили за конкурентами. Кто-то собирал книги об искусстве и альбомы с репродукциями мастеров мировой живописи, кого-то интересовали "Литературные памятники", других привлекала серия "Библиотека поэта". Повышенный интерес был не только к художественной литературе, пользовались спросом история и литературоведение. Сейчас уже трудно понять, почему специфическое литературоведение привлекало не только профессионалов. Но тогда, в условиях ангажированной философии и истории именно литературо-ведение аккумулировало идеологическую оппозицию.

Не все посещавшие книжные магазины были книголюбами. Существовал ещё разряд книжных "жучков". Они вкладывали в книги деньги. Один из них, Лёня, даже создал популярный некоторое время афоризм: "Золото и книги не дешевеют". Лёня собирал серию "Литературные памятники" и как-то несколько месяцев изводил всех поисками "Истории бриттов" Гальфрида Монмутского. Сам он историей никогда не увлекался, знал её плохо и, собирая "Литпамятники", надеялся в будущем выгодно продать или обменять книги, а без Гальфрида — некомплект. Нужно, однако, отдать ему должное: книги у него были в идеальном состоянии — он сохранял их товарный вид.

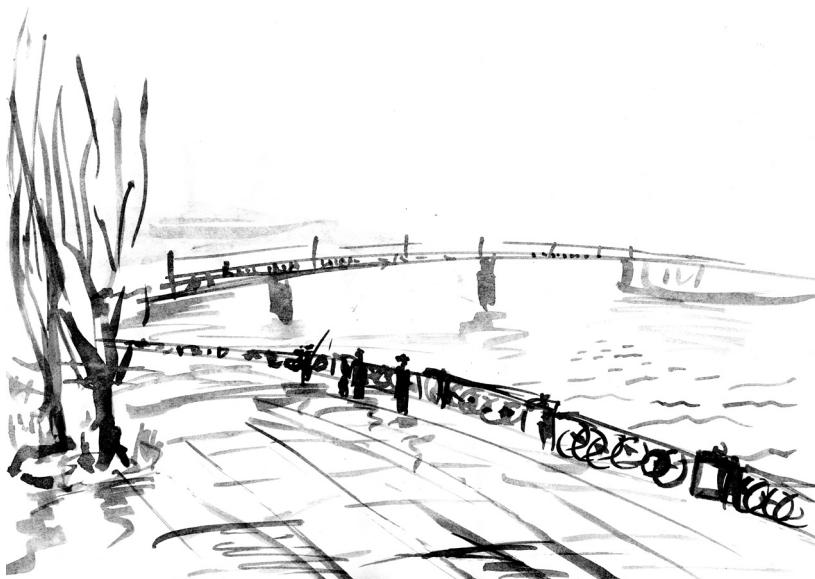
Но были и чистопородные, так сказать, густопсовье книжные черви. Эти подлинные фанатики книги готовы были ради редкого фолианта, если не душу заложить дьяволу, то телом пренебречь — уж точно.

Почти каждый день в каком-либо из книжных магазинов, а чаще всего в букинистическом, можно было встретить худощавого мужчину, несколько неопрятного, с копной чёрных с проседью волос и слегка небритого. Звали его Михаил Александрович Ноздрачёв. Работал он то ли на мелькомбинате, то ли на пищевкусовой фабрике заведующим химической лабораторией, то есть по работе никакого отношения к изящной словесности не имел.

Михаил Александрович был страстным библиофилом. Тогда многие следили за течением издательской жизни, читали "Книжное обозрение", были в курсе тематических планов издательств. Держал руку на пульсе и Ноздрачёв, но кроме этого он знал порядок поступления книг в магазины, был знаком с многими продавцами, которые относились к нему с неизменным почтением.

Библиотека у него была замечательная не только по николаевским масштабам: больше десяти тысяч томов собраний сочинений русских и зарубежных классиков. Он предпочитал издания Маркса (не путать с Карлом), Стелловского, братьев Сытиных. Кроме того, Михаил Александрович увлекался живописью, собирая альбомы репродукций и книги по искусству, а ещё старые открытки и журналы.

В конце 60-х он вышел на пенсию и устроился подрабатывать в отдел искусства магазина "Ноты". Был такой магазинчик на первом этаже двухэтажного дома рядом с гостиницей "Центральная". Нужно было видеть, как Ноздрачёв работал с покупателем. В его жестах, интонации, мимике не



было даже лёгкого оттенка презрительного высокомерия, которое отличало николаевских продавщиц. Они вели себя, как принцессы крови, вынужденные волею злодейки судьбы обслуживать тебя, хама.

Потомственный дворянин Михаил Александрович впадал в другую крайность — его мучил педагогический зуд. Редкий покупатель, как правило завсегдатай, избегал бдительного взгляда и замечаний. Особенно жалкими выглядели случайные посетители, которых странная фантазия поли-стать альбом корифея отечественной или зарубежной живописи привела в магазин. Они сразу становились жертвами жёстких, но не унизительных наставлений Ноздрачёва. Он объяснял, почему книгу нельзя держать на весу, как переворачивать страницу; палец, смоченный слюной, чтобы перевернуть непослушный лист, приводил его в негодование. Праздный гражданин позорно бежал из магазина со здоровым румянцем на щеках. Испытывающий к книгам трепетные чувства Михаил Александрович не понимал и не терпел безразличного, а тем более пренебрежительного к ним отношения и, видимо, хотел, чтобы и другие переживали ощущение ценности и значимости книги.

Были в Николаеве и другие, не менее замечательные библиофилы. Их библиотеки в чём-то уступали, а в чём-то пре-восходили библиотеку Ноздрачёва, и это питало ревность особого свойства.

Отставной офицер авиации Анатолий Фёдорович Шульмейстер жил на Наваринской и два раза в неделю на машине объезжал все книжные магазины. Часть библиотеки перешла к Шульмейстеру от ленинградских родственников, но основной труд собирания принадлежал ему. Ещё он интересовался антиквариатом и имел несколько живописных подлинников, среди которых был даже якобы Шагал.

По сравнению с замкнутым и, может быть, несколько грубоватым Шульмейстером директор Николаевской обсерватории Яков Ефимович Гордон, рафинированный ленинградский интеллигент, был сама любезность. Его библиотека также начала складываться в Ленинграде (а вероятнее всего,

ещё в Петербурге), значительно пополнилась здесь и также вызывала ревнивые чувства книголюбов.

Это были совершенно разные люди, с разными судьбами, а вот судьбы их библиотек удивительно похожи. Первым умер Гордон, и его книги пытались выкупить у родственников особенно настойчивые библиофилы. Отчасти им это удалось, и его библиотека в том виде, в каком сложилась, существовать перестала.

Собрания книг Ноздрачёва и Шульмейстера после не связанных между собой трагических кончин обоих тоже исчезли. Казалось бы — ну и что? Но как-то непроизвольно память подсказывает: а библиотека Ярослава Мудрого, а Ивана Грозного, а знаменитая Александрийская? (Желающий легко продолжит.) Они тоже стали несуществующими, о них сохранились только рассказы, больше похожие на легенды. И тянет за язык какая-то неведомая сила произнести страшное слово “закономерность”. И кажется, что действительно есть некий закон, по которому книги сопротивляются их объединению в колхоз библиотеки. То же самое можно, впрочем, сказать и о картинах, и о марках, и об открытках, значках, монетах и пр. Каждый ведь из этих предметов вполне закончен и самодовлеющ, он может быть, а может не быть частью чего-то ещё. И в любом случае получается, что принадлежа одному человеку, коллекция живёт столько, сколько живёт хозяин. За редким исключением.



УЧАСТОК СВЯЗИ

Прилагательное "интеллигентный" не имеет сравни-
тельной степени. Тем не менее встречаются люди
недо-, полу — и псевдоинтеллигентные.

Анатолий Борисович был интеллигентен в точном смысле этого слова (если его можно определить точно). Он никогда не повышал голоса, всегда и со всеми был вежлив, всем от младенцев до старцев говорил "вы", с начальством вёл себя корректно и сдержанно, никогда не относился к подчинённым высокомерно, но и с теми и с другими мог быть твёрдым и настойчивым. Должность Анатолий Борисович занимал незначительную — был начальником участка связи ТЭЦ. В его хозяйстве была местная АТС на двести номеров, коммутатор, сеть электрических часов и аппаратура высокочастотной связи. Последнее было самым ответственным, так как связь эта была не только ведомственной, но и пра-

вительственной. Анатолий Борисович был профессионалом. Начальники ценили его, уважали и побаивались.

Выше среднего роста, худой, сутуловатый в неизменном сером пиджаке он двигался плавно и бесшумно. Не докучая надзором, он иногда пугал подчинённых, постояв незамеченным у кого-либо за спиной и наблюдая за работой и вдруг подсказывая, как нужно сделать. Анатолий Борисович никогда не проводил планёрок, совещаний, собраний, он как-то так умел организовать, что каждый знал, где, какую и в какой срок сделать работу, и всё происходило как бы само собой.

Не то что откровенности, но даже намёков на какие-то обстоятельства личной жизни Анатолий Борисович не допускал, хотя назвать его чересчур замкнутым было нельзя. Так же не обсуждал он политические реалии современности и недавнего прошлого, что позволяло угадывать в нём человека, сталкивавшегося с репрессивным аппаратом и имевшего опыт общения с сексотами.

Он прошёл всю войну и демобилизовался в звании то ли капитана, то ли майора, но никогда войну не вспоминал, ордена и медали не надевал даже по праздникам, к утверждённым цензурой рассказам о героизме относился брезгливо.

Одна из мастерских участка находилась в тихом закутке рядом с караульным помещением ВОХРа. Анатолий Борисович из деликатности заходил сюда нечасто, чтобы не беспокоить сотрудников, которые в урочное время могли что-то работать для себя. Во время одного такого визита в мастерскую заглянул начальник охраны и, подобострастно шевеля спиной, попросил Анатолия Борисовича посмотреть пистолет ТТ, в котором что-то заедало. Не дожидаясь согласия, он вынул пистолет из кобуры, и тогда сидящий за столом Анатолий Борисович весь напрягся: он стал прямым, в лице появилась жестокость, постоянно доброжелательный взгляд исчез, и на тупого вохровца смотрели холодные глаза то ли снайпера, то ли сапёра. С нескрываемым презрением и ненавистью он взял оружие в руки, и пистолет под незаметными и лёгкими движениями его пальцев почти мгновенно

превратился в составляющие детали. Часовой отверткой по-правив что-то, Анатолий Борисович так же быстро и ловко собрал инструмент убийства и с отвращением оттолкнул его от себя по столу. Начальник охраны смотрел на начальника связи с восхищением и кудахтал благодарности.

Был Анатолий Борисович коренным николаевцем или не был, сейчас сказать трудно, но историю города он знал в деталях с какой-то особенной, неожиданной стороны и иногда поражал нас удивительными фактами. Тогда в 70-е на некоторых домах появились уже мемориальные доски с текстами вроде: "В 1918 году в этом доме находился райком комсомола" или подобными, и это как бы подразумевало, что вся дореволюционная история города представляла собой малозначительный мёртвый сезон тупого и пошлого прозябания, обывательской вознёй, достойной только презрительного забвения.

Непостижимым образом Анатолий Борисович знал истории домов: для чего или для кого они строились, какое учреждение находилось раньше в жилом теперь доме, или кто жил в помещении до того, как советская власть приспособила его для своих нужд.

Однажды минут за двадцать до окончания обеденного перерыва в той же мастерской сидели несколько человек. Мужчины пообедали, и разговор ни о чём вяло тянулся, перемежаясь паузами, тематика затейливо менялась, и кто-то вдруг почему-то вспомнил Семёновскую церковь, стоявшую на пересечении улиц Херсонской и Пушкинской. Лениво заспорили, когда взорвали храм — в 1961 или 1960 году. Вошёл Анатолий Борисович, присел, послушал полемику с лицом психиатра, которому диагноз ясен, и когда спор сам собой угас, спросил:

— Вы помните кирпичный дом посередине квартала между Пушкинской и Курьерской по пути на рынок справа? Он один такой, остальные оштукатурены и побелены.

Дом помнили.

— Сейчас там люди живут, а до революции располагались наши коллеги.

И Анатолий Борисович рассказал историю дома, в котором сейчас расположилась фирма "Дикий сад".

История эта относится к тем баснословным для детей телевизоров и компьютеров временам, когда Белл изобрёл телефон, когда Великобритания была мировой державой номер один, и это питало пафос творчества Редьярда Киплинга, и когда англичане утверждали, что в Британской империи никогда не заходит солнце. Согласитесь, что управлять таким чрезмерным хозяйством крайне сложно, и телефон, изобретённый соотечественником, оказался англичанам как нельзя кстати. Как люди практичные они посчитали затраты на сооружение телефонной линии между Лондоном и Дели и пришли к выводу, что такая связь может не только окупиться, но и принесёт вполне ощутимые выгоды. Британия приступила к воплощению гигантского проекта. Его техническая сторона усложнялась политическими трудностями, так как линия связи должна была пройти по территории десятка с лишним государств, а Британия не со всеми была в дружественных отношениях. Тем не менее настойчивые британцы решили все проблемы, и от Ламанша через всю Европу и значительную часть Азии протянули телефонный кабель, подвешенный на чугунных столбах. Столбы устанавливались через каждые пятьдесят метров, стало быть, это около 200 тысяч столбов. Круг радиусом в один метр со столбом в центре, хотя и был арендованной землёй, считался британской территорией.

Линия таких столбов приходила в Николаев из Одессы, тянулась по всей Херсонской улице и уходила в Херсон, а потом в обход Азовского моря через Кавказ и дальше, в ту страну, с которой тверской купец Афанасий Никитин опрометчиво пытался наладить экспортно-импортные отношения ещё в XV веке.

Так вот, домик этот, выпадающий из пёстрой, но несколько однообразной стилистики городских строений, сложили из кирпича местного заводика для технического персонала, который обслуживал николаевский участок телефонной линии Лондон-Дели.

И маленькая мастерская, и убогие домишкы слободки, и кирпичный завод, и прохожий индифферентно скользящий глазом по перспективе чугунных столбов, — всё это в рассказе Анатолия Борисовича вдруг выросло и оказалось частью не давно и безвозвратно канувшей в былое телефонной линии, а чего-то неизмеримо большего. Телефонная воздушка связала не только два города в разных странах света, она прошла через время и, исчезнув сама, оставила материальные следы на городском теле, по которым каждый живой человек может читать уходящую жизнь. И смутная чувство-мысль завитала в мастерской участка связи: жизнь не пресечётся до тех пор, пока люди будут создавать нечто, переживающее их...

Анатолий Борисович был женат. Детей у них не было, и может быть поэтому они, даже когда гуляли с женой рука об руку, выглядели одинокими. Настоящее одиночество пришло к нему после смерти жены. Он не смог этого пережить и через полгода застрелился из трофейного "Вальтера", который вопреки всем законам хранил более тридцати лет.



ВАРВАРСКИЙ МОСТ

*Шел я верхом,
шел я низом —
строил мост в социализм...*

Б. Маяковский

*... из-под ног уходящий, бессонный,
с жестяным фонарем на краю —
разводной, топляковый, понтоонный,
в два наката, в одну колею.
... хлипко дышит, из бревнышек сшит.*

В. Пучков

Приход нового дня жителям Спасского спуска и улицы Вокзальной (Фрунзе) возвещали не петухи, не будильники и не светлеющее за Водопоем небо. Для них продолжение жизни начиналось с громыхания по брускатке крестьянских телег и гужевых рессорных платформ, с цоканья копыт, с надрывного воя задыхающихся на первой пере-

даче "газонов", с уверенного в себе ровного гудения редких студебекеров, с шарканьем и топотом тысяч ног. Через мост из Варваровки и Коренихи шли на заводы рабочие, чтобы крепить морскую мощь державы, на телегах крестьяне везли на рынок плоды своих каторжных трудов, которые эквилибристы от идеологии лукаво-метафорически именовали "дарами полей", машинами со стороны Одессы ввозили промышленные и продовольственные товары.

Весь грузовой транспорт, а был он только государственным, красили почему-то зелёным. Редкие крестьянские клячи — каурые, саврасые, булавные, соловые, пегие, — разнообразили эту унылость. Ревнители равенства не могли подвести лошадей под одну черту. Хотя на этот счёт тоже, видимо, имелось указание, так как лошади ведомственные по большей части были гнедой и караковой масти. В основном гужевой транспорт принадлежал торговой сети (торговля в чёрном теле —!?), на зелёных бортах платформ было написано "Горпищеторг" и номер телефона.

Последнее поколение помнят старый Варваровский мост родилось после войны. Ещё полвека назад он был не таким, как теперь, и не там. Прежде всего мост плавал. Плавал на мощных брёвнах, уложенных между берегами и параллельно им с интервалом около метра. Брёвна перевязывались, по плотницкой терминологии, брёвнами же, которые покрывались толстыми досками, это была поверхность моста. За ограничительными перилами ещё метра на три выступали, как штрих-код, брёвна — основа моста.

С варваровской стороны мост упирался в искусственную косу, сохранившуюся поныне, с городской — в Варваровский спуск между нынешним речным вокзалом и школой ОСОУ, по-старому — ДОСААФ, а ещё раньше — ДОС-Флот, а ещё раньше — ОСОАВИАХИМ. Двухэтажного здания школы тогда не было, и подготовка выношей к службе в краснознамённых флотах осуществлялась в сарайчике. Во время дождя сарайчик не то чтобы протекал, его затапливали, и будущие моряки сидели, поджав ноги, и ждали, когда вода уйдёт в песок.

Дожди для Варваровского спуска были сущим стихийным бедствием. Потоки воды, устремляясь к реке, смывали булыжники, уложенные прямо на песок, и перекатывали их вниз. Получался наполовину рукотворный сель. Когда стихия удовлетворялась, появлялись мужички с инструментом и укладывали булыжники на место, готовя почву для следующего дождя.

С правой стороны, на месте речного вокзала располагался речной порт с горами угля, песка и штабелями леса, который шёл на ремонт моста. Бригады плотников не простиавали: мост постоянно латали, меняя подгнившие брёвна и доски.

Посередине реки, на фарватере мост разводился. Ручной лебёдкой разводная секция метров двадцати пяти разворачивалась, как открывающаяся дверь, чтобы пропустить судно. Мало того, что эта трудоёмкая процедура занимала много времени, разводка моста всегда была событием. Какие-то мужики бегали, хлопотали, сутились, над рекой висел отборный мат, без которого братья-славяне гвоздя забить не могут. Движение замирало, и наступал звёздный час одногоного морячка, инвалида войны. Он жил у самого моста в чём-то среднем между собачьей будкой и скворечником и промышлял рыбалкой. На своей смолёной плоскодонке Харон-калека перевозил особо нетерпеливых пешеходов на другой берег, зарабатывая на водку. Из машин же вырастал хвост, терявшийся в верховьях Спасского спуска, с одной стороны, и Очаковской улицы — с другой. Независимо от разводки автомобильные очереди собирались постоянно, так как движение по мосту было односторонним и машины пропускались попеременно — то в город, то из города.

Переправа по мосту всегда была приключением, щекочущим нервы детские, женские, а по первому разу и мужские, триллером въяве, особенно для тех, кто ехал на машине. Как только гружёный автомобиль въезжал на мост, тот начинал тонуть. Скорость была немыслимой — километров семь в час. Колёса почти наполовину погружались в воду. Паника гнала вперёд к неподтонувшей части, но и она погружалась

в воду. Пика остроты ощущения достигали в ненастье. Торцы поросших водорослями брёвен ныряли и поднимались из воды. Их сердито била волнами река. Именно в такой день из Одессы на гастроли приехали любимцы Кремля Тарапунька и Штепсель. Для избалованных цивилизацией артистов переправа стала испытанием, и кто-то из них назвал мост "Варварским".

Самой экзотической деталью моста были рыбаки. Они сидели и стояли на брёвнах за перилами, индифферентные, не безразличные, а именно индифферентные ко всему, что двигалось по мосту. То для них была потусторонняя, иная, параллельная жизнь. Они ловили лещей и судаков, карпов, тарань, рыбца, бычков нехитрыми самодельными снастями. Особенno поражали воображение видевших такое впервые фигуры, методически поднимающие и опускающие длинные удилища. Это было похоже на ритуальное действие, шаманство или на купание лески. Рыбаки называли эту снасть "самодуром". Делался самодур просто: к леске привязывали несколько крючков, а к ушку крючка привязывали цветными нитками пёрышко или что-нибудь яркое. Ритмичные движения вверх-вниз приманки привлекали хищную рыбку с неихтиологическим названием "пузанок". Его не варили и не жарили. Слегка просолившийся, с картошкой или без, пузанок казался фантастически вкусным... Где он теперь плавает тот пузанок?

Слева, если стоять лицом к мосту, был небольшой песчаный пляж и стоял дебаркадер с рестораном на втором этаже. Ресторан был не ахти и назывался соответственно — "Волна", но там почти всегда можно было купить чешское пиво. Дальше начиналась территория Яхт-клуба. Собственно, здесь и теперь всё такое же: мостики, заборчики, самодельные металлические шкафы, подсобные строения и яхты. Тогда это называлось "водная станция" и принадлежала она, как и сейчас, кораблестроительному институту. Была здесь и спортивная площадка, достаточно ухоженная для интеллигентных спортивных игр. В те времена вообще как-то много было любителей волейбола и баскетбола, и площадки были

чуть ли не на каждом шагу, и при дефиците мячей всегда какие-то пацаны дотемна по-своему воплощали олимпийский принцип, ничего о нём не зная, и каким-то чудом, по большей части самими пацанами, площадки эти содержались в порядке. И каким вандалам, троглодитам, готтентотам они помешали?..

Кстати, классный был волейбол в Николаеве в конце пятидесятых-начале шестидесятых. Пожалуй, такого уровня не было ни футбольной, ни баскетбольной команды, а играли в ней только наши, николаевские ребята, за исключением Вити Лапина, который приехал из Винницы. Считалась она командой НКИ, но по сути была сборной города и состояла из воспитанников Виктора Ивановича Исакова. Мягкий, интеллигентный, как бы даже застенчивый, он не лишён был вполне, впрочем, умеренного тщеславия и не упускал случая показать фотографию, где он, долговязый юноша, рядом с товарищами по киевскому "Спартаку" обменивается рукопожатием с самим Джавахарлалом Неру. В конце двадцатого века команда Виктора Ивановича шагнула в седьмой десяток. Кроме тренера, Станислава Павлова и Николая Минина, вечный им покой, все, слава Богу, живы. А сорок лет назад полгорода ходило на встречи с командами Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Львова..., чтобы увидеть и насегда запомнить, как левша Лёня Лизунов по кличке Лёка при ста восьмидесяти сантиметрах роста почти по пупок выпрыгивает над сеткой и в каком-то сверхъестественном игровом кураже парит над соперниками, раздумывая — с какой стороны обойти блок; чтобы поразиться лёгкому и мягкому приёму любого мяча, невероятно точной и совершенно неожиданной передаче, молниеносной и практически всегда удачной атаке другого левши — интеллигентного красавца Саши Равича. Они были ударной силой команды, но им не уступали ни универсальный игрок Стас Павлов, ни защитник и организатор атак Слава Ивков, ни нападающие Володя Трошин и Витя Лапин. Это была команда звёзд, и она стала в 1959 году победителем первенства Всесоюзного совета ДСО "Спартак". По тем временам это дорого стоило.

Волейбол в их исполнении можно было увидеть на специализированной площадке с трибунами для зрителей. Она и сейчас ещё жива и ждёт того часа, когда её приспособят под пляжный волейбол. Располагается это бывшее спортивное сооружение в задачах бывшего места культуры и отдыха, а именно, танцевальной площадки с раковиной-эстрадой, которую в 50-60-е называли "нижней" (сейчас она вся уставлена яхтами), потому что была ещё "верхняя".

Между "верхней" и "нижней" за пятьдесят лет практически ничего не изменилось: те же газоны, огороженные не украденными до сих пор ворами-невидимками волнами металлических бордюрчиков; тот же фонтан с лягушками, плюющими водой, и так же любят сидеть на них дети и играть струями; тот же теннисный корт; те же цифры на каменном надгробии источника — 1792... Исчезла только раковина-эстрада, и вызывает лёгкое недоумение пустующий постамент, на котором в своё время стояла гипсовая лавочка, а на ней гипсовые же Ленин и Сталин сидели в расслабленных позах, как бы намекая на необходимость отдыха в сизифовом деле строительства коммунизма. А в остальном — всё то же, но несколько обветшавшее.

Войны, революции, перевороты, землетрясения, наводнения, извержения вулканов — все социальные потрясения и естественные катаклизмы второй половины двадцатого века обошли этот уголок земли, разве что косвенно задев его.

Как полвека тому, как все эти годы, тут гуляют мамашы с детьми и бабушки с внуками, "забивают козла" профессионалы домино, играют в шахматы бывшие начальники и работники умственного труда, виртуозы преферанса, подавляя эмоции, лелеют надежды на фантастический прикуп.

Почти невозможно представить себе Яхт-клуб без людей так или иначе являющихся собой его постоянную составляющую. В течение, например, двух десятков или более лет с апреля по октябрь здесь можно было встретить мужчину за шестьдесят, а может быть, даже за семьдесят. Казалось, что у него нет возраста. Среднего роста, грузноватый от лёгкого

излишка мышц, без намёка на "колбасное сало" на животе и талии и совершенно лысого. Берусь утверждать, что никто и никогда не видел его белой кожи. Уже к тому времени, когда Яхт-клуб оживал от зимнего ступора, он имел стойкий тёмно-бронзовый загар, и кожа его никогда не шелушилась. Кроме того, он всегда был один.

Почти полный световой день на одних и тех же скамейках сидели одни и те же тётки с подбородками, нечувствительно перетекающими в грудь, или вообще без грудей и подбородков. Без особого напряжения представлялось, как они девушками провожали добровольцев на последнюю русско-турецкую войну, и их выцветшие глаза так много видели, что уже по-библейски ничему не удивлялись. Они знали все городские родословия, все семейные трагедии, и о броню их мудрости вдребезги разбивались насмешливые взгляды, а иногда и шуточки шпанистых подростков.

Хоть Яхт-клуб никогда не был приспособлен под пляж, купающихся и загорающих собирались здесь достаточно много. Работал даже пункт проката, и за умеренную плату можно было под залог паспорта взять на пару часов шлюпку.

Дальше, в сторону училища имени Леваневского был ещё не один центр спортивной жизни — и "Динамо", и "Авангард", и база футбольной команды. Однако первой была ДВС, или Детская водная станция. Тут за невысоким забором зрели баскетбольные и волейбольные таланты, тут вынашивали честолюбивые замыслы и утверждали свои тренерские концепции флегматичный Алексей Иванович Тихонов, которого за глаза ученики называли Лёшай; Николай Житинский, за ним с тех пор, когда он ещё играл, сохранилась кличка Слон; лучший баскетбольный тренер и игровой стратег Семён Наумович Барг; Валентин Михайлович Плешаков, ставший Плейшнером после "Семнадцати мгновений весны". С девочками на баскетбольной площадке работали Лебедев, Маршак и Миронов. Владимир Петрович Лебедев, или Лебедок, стоит того, чтобы о нём сказать особо. Рослый, он немного сутулился, косил, не ел птицу, а будучи

под хмельком, пил подсолнечное масло, наивно полагая, что оно отбивает запах алкоголя. Речь его была быстрой, захлёбывающейся, с обилием вводных слов и почти без гласных звуков. Понимал её только Илья Маршак и, как ни странно, девочки, которых Лебедок учил играть в баскетбол. А учить этот тренер-самородок без специального образования умел, и его воспитомки постоянно выступали в финалах детского баскетбольного чемпионата Украины. Авторитет у Лебедка в баскетбольном мире был огромный. Его знали и уважали не только в Украине, но свято блюя традицию, не ценили дома...

На волейбольной площадке царили строгий Анатолий Павлович Табакарь, бесшабашный добряк и всеобщий любимец Иван Иванович Кульчицкий и джентльменистый Володя Бомштейн. Какие здесь бушевали игровые страсти! Какая зарождалась дружба, и какая возникала вражда! Сколько строилось планов и витало надежд за неказистым забором! Какие плелись интриги! Какие зрели подозрения в происках и коварстве!.. Время всех угомонило, помирило и расставило по местам...

В 1963 году открыли новый мост. Альянс между городом и заречьем закрепили соответствующими торжествами, и высокомерная шутка одесситов о Николаеве, который за Варваровкой, потеряла смысл. Несмотря на то, что слева от моста на варваровском берегу обустроили пляж, популярностью у любителей солнечных ванн и купания пользовалась дикая узкая придорожная полоса намытой как продолжение моста косы. Здесь собирались молодёжь, здесь текла обычная пляжная жизнь с неизбежным пляжным же флиртом, который иногда перерастал в серьёзные отношения.

Создатели моста по-социалистически экономили, не заглядывая далеко вперёд, и теперь часть реки с обеих сторон перегородившей её косы заболотилась, и оба пляжа опустели. Разве что на том, что был специально оборудован, варваровские старики и старухи выпасают коз — это позволяет им сводить концы с концами.



ОЧАРОВАННЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ

Даже сухой порывистый северо-восточный ветер не мог выдуть дурманящий запах цветущих акаций. Ветер гонял пылевую позёмку, закручивал пыль в маленькие смерчи, баловал с пылью. Пыль хрустела на зубах, забивалась в аккуратно подстриженную бородку. Хотелось помыться, переодеться, передохнуть хотя бы часок в месте тихом и чистом.

Молодой человек добирался от Орла до Николаева с обычными дорожными приключениями неделю. Уже год он, бывший следователь уголовной палаты Орловского суда, бывший секретарь рекрутского набора при киевском губернаторе, служил в компании мужа своей тётки, родной сестры матери. Она, по мнению родни, вышла замуж неудачно —

за немца. Немец, а на самом деле шотландец, оказался, тем не менее, человеком энергичным. Он сумел организовать компанию "Вилкинс и Шкотт" по оптовым поставкам льна, пеньки, скипидара, дёгтя, сала на кораблестроительные верфи. Вилкинс предложил племяннику оставить карьеру чиновника и стать торговым агентом его компании, а со временем и компаньоном. И вот уже год с небольшим разъезжал торговый агент по губерниям российским, организуя закупки у вятичей и пермяков, у псковичей и смолян, у оренбуржцев и тверичей и заключая сделки с корабельщиками Архангельска, Петербурга, Нижнего Новгорода, а теперь добрался до черноморских краёв.

Звали молодого человека Николай Семёнович Лесков. Суровый историк-фактограф потребует доказательств, ссылки на архивные документы, откуда, мол, известно, что Лесков бывал здесь — и будет прав. Нет таких документов. Не сохранились. Однако любой житель Николаева, читая, например, рассказ Тургенева "История лейтенанта Ергунова", действие которого происходит в Николаеве, сразу понимает, что глубокоуважаемый Иван Сергеевич в городе нашем никогда не был. И для того же читателя совершенно очевидно, что автор удивительных приключений очарованного странника Ивана Северьяныча Флягина щупал босыми ногами береговой песочек и окунал молодое крепкое тело в воды лимана.

Не получился из Николая Семёновича коммерсант. Скучно ему было считать транспортные расходы, убытки, учитывать форс-мажорные обстоятельства и подсчитывать проценты дохода. Зато будущий великий писатель приобрёл ни с чем не сравнимый опыт. Сам Лесков говорил: "Я знаю Русь вдоль и впоперек — от Белого моря до Чёрного." Ни один из литераторов не мог сравниться с ним в этом знании, никто его не оспаривал, но почтительно преклонялись. В этих странствиях чуткое ухо Лескова ловило местные особенности речи, и тогда, видимо, и закладывалась основа удивительно неповторимой языковой палитры автора

"Соборян" и "Запечатленного ангела", "Человека на часах" и "Скомороха Памфалона".

Но ещё впереди и литературная слава, и горечь разочарования от человеческой мелкости и подлости околовитературной сволочи, и увлечение идеями социального прогресса, и попытки разоблачения спекулянтов этими идеями, и работа..., работа...

Ни о чём таком командированный в Николаев "Вилкинсом и Шкоттом" ещё не догадывается и не помышляет связать свою жизнь с литературой. Он пока бродит по Николаеву, потому что жизнь на верфи после Крымской войны замерла и нет у корабельных мастеров потребности ни в пеньке, ни в сале да и сами мастера подались кто куда в поисках работы. Он бесцельно бродит по немощёным улицам города, так не похожего ни на его родной Орёл, ни на какой другой русский город, слышит волжское оканье, певучую полтавскую и шипящую польскую речь, еврейские интонации и удивляется этому мини-Вавилону, переживающему кризис. С интересом наблюдает торговый агент рынок, напоминающий невольничьи рынки Востока в недалёком прошлом. Беглые крепостные, безработные мастеровые, девки-подёнщицы, с поддельными паспортами или вовсе без паспортов, вышли, чтобы продать своё время, руки и тело. Немногочисленные покупатели — в мундирах военных и статских, дамы, брезгливо приподнимающие подолы платьев, — выбирают себе прислугу, кухарку, прачку, няньку, кучера, садовника или сторожа, позволяют себе привередничать и сбивают цену, так как предложение превышает спрос. Вот бесцеремонный и суетливый чиновник-поляк поймал за руку здоровенного парня с копной русых волос и тащит за собой этого колосса, попутно что-то объясняет ему, захлёбываясь мешаниной польских и русских слов. Вот капризная дама в модной шляпке придилично разглядывает и о чём-то расспрашивает молодую бабу сангельским лицом, поворачивает её туду-сюда, как лошадь, осматривая всю от косы до лаптей...

Западают эти сцены в память коммивояжёра Лескова, а живая фантазия уже угадывает в бытовых картинах зиг-

заги судеб. Любопытный и чуткий зритель, он внимательно смотрит постановку фрагментов драмокомедии жизни...

Трудным и полным горечи был писательский путь Лескова. Он не укладывался ни в одно из общественно-политических течений второй половины XIX века, мужественно и отчаянно сопротивлялся всякому идеологическому диктату, прожил большую часть жизни в нужде и почти до конца дней своих оставался гадким утёнком русской литературы.

Причудливая сочная вязь лесковской прозы выпадала из магистрального стилистического потока литературы и царапала ухо салонного вкуса. По его словам нельзя было скользить, они заставляли вчитываться в текст, создавался неповторимый эффект звучащей речи. За это его обвиняли в отсутствии чувства меры, называли "чрезмерным".

Николай Семёнович был знатоком не только современной жизни. Он не поверхностно знал историю России и церкви, разбирался в тонкостях раскола и иконописи, был кладезем народно-христианских легенд и сумел проникнуть в тайны первых веков христианства.

Лесков большую часть своей творческой дороги торил в поисках положительного героя и нашёл его в цикле "Праведники" и в христианских легендах. Лескова не замечала критика, а если замечала, то не понимала. Тем не менее, он был одним из самых читаемых и любимых писателей у публики, а ушёл из жизни непризнанным гением русской литературы.

Ему до сих пор не простили антинигилистических романов, попыток изображения христианских подвижников, сатирических выпадов против епархиальных чиновников и власть имущих, проповеди христианской этики, не из-

вращённой сектантством, и мучительных поисков правды, не замороченной партионными интересами.

УЧИТЕЛЯ

Считается, что ученики должны помнить своих учителей всю жизнь. Это как бы нравственный императив. Но учителя бывают разные, а детские впечатления сильны и оценки часто ошибочны.

Прошлое запечатлевается в нашей памяти избирательно. Одни помнят одно, другие — другое, хотя пережили одни и те же события. Это, видимо, объясняется свойствами души. Стало быть, историки и история обречены собирать мозаику прошлого из кусочков, но целого никогда не получится, так как многие фрагменты навсегда утрачены.

В детстве и отрочестве мы нуждаемся в опеке, поэтому детские воспоминания во многом связаны с взрослыми, и часто менее близкие люди более резко впечатываются в то, что мы называем памятью. Школьные учителя тоже помнятся по-разному.

Чем объяснить, что только один урок физики в шестом классе или даже один момент этого урока я запомнил на всю жизнь? И учитель этот всего один урок-то и дал. Очень высокий, широкий, но не толстый, короче, здоровенный, совершенно лысый, в черном костюме он подходит к стене рядом с дверью, чуть выше уровня плеча левой рукой упирается в стену и по складам говорит очень низким голосом: "При-ла-га-ем си-лу!" И мне кажется, что стена сейчас вывалится в коридор. У нас была великолепная учительница физики, мы знали и любили и предмет и ее, но ничего из ее уроков я не помню, а вот этот эпизод занозой сидит в памяти.

Или урок черчения, когда средних лет эпилептически нервный дядя рассматривает в разных плоскостях лист ватмана с чертежом, а потом спрашивает: "А это что такое?"

"Стрелка", — отвечает растерянный ученик. "Так почему она кучерявая?" — ревет возмущенный учитель. И больше ничего: ни лица, ни что чертили, ни чей это был чертеж... Помнятся всякие мелочи: как учитель русского языка, у которого всё время сползали брюки, а пальцы были в мелу, подтягивал их так, как будто у него ампутированы кисти рук; характерный жест, каким поправляла прическу математичка, и больше ничего, хотя она нам была, как мама...

Но есть учителя, застравающие в памяти, как нечто цельное. Они выделяются из общей массы педагогического коллектива или знаниями и общей культурой или оригинальностью личности.

ЗАЙЧИК

Это фамилия такая — Зайчик, а имя ему было Александр Александрович. Преподавал он рисование, а так как часов на азы изобразительного искусства отводилось мало, то, чтобы прокормится, приходилось ему работать в нескольких школах. Он был маленький с белым пушком на голове, носил пенсне и всегда ходил в черном костюме и белой рубашке, галстука не помню. Рукава пиджака, воротник и брючины на коленях лоснились. И был он какой-то присыпанный — спереди мелом, сзади перхотью. Когда он у нас появился, в четвертом или пятом классе — не скажу, а только прихода его ждали, потому что второгодники рассказывали о нем легенды.

И вот долгожданный урок рисования. Когда о ком-нибудь рассказывают легенды, то первое впечатление — разочарование. Школа пролетарская, пацаны шпанистые. Мы все, кроме трех второгодников, ждем мужа доблестного, а появляется этакий Зайчик. Правда, упитанный, розовый, с короткими ручками, морковки ему только не хватает. И с кувшином под мышкой. Мы с грохотом, естественно, встали, он поздоровался, мы с грохотом сели. Зайчик поставил на кафедру кувшин, взял мелок и в несколько движений руки нарисовал его на доске и даже тени наложил. Кувшин получил

ся, как живой. При этом он что-то говорил, но слышно его не было, так как в классе стоял гвалт. Все переговаривались, особенно нахальные вставали, что-то передавая товарищам, второгодники гундосили: "Александр Александрович, расскажите что-нибудь". Так продолжалось минут пять. Наконец Зайчик сдался, как на войне. Он поднял обе руки, и все угомонились.

— Хорошо, — сказал Зайчик, — я буду рассказывать, а вы рисуйте.

Рисовали мы или нет, но такой тишины в классе никогда не было. Александр Александрович рассказывал "Мексиканца" Джека Лондона. Он не называл автора, да нам тогда это и не было нужно. В замороженной тишине мы уже не видели ни учителя, ни нелепого кувшина. Перед нами рисовался образ парнишки-мексиканца, человека слова и чести. Его использовали, как грушу, на нем отрабатывали удары, он учился защищаться и бесстрашно набирался опыта.

Редкий пацан в классе не дрался и не знал приемов уличной драки. Но за этими стычками стояло уязвленное самолюбие или обида, что-то личное и никогда еще не стояла идея. Нет-нет, не идея мексиканской революции, нам своей было достаточно, а идея данного слова.

И вот он вышел на главный бой своей жизни. Зайчик, наверное, выглядел комично, но мы этого не замечали. Раунды в его рассказе тянулись, как настоящие, и он сам, и мы вместе с Мексиканцем терпели боль каждого удара, уклонялись, били в ответ, ненавидели рефери и секундантов, уговаривавших Мексиканца лечь, и наконец, побеждали.

Это был первый настоящий урок искусства слова. Все, кто учился у Зайчика, помнили его и его рассказы, и подавляющее большинство после его уроков начинало читать. Конечно, это был Джек Лондон, хотя Зайчик рассказывал и "Ванину Ванини" Стендэля, и "Матео Фальконе" Мериме, и какие-то из рассказов О'Генри. Рассказчик он был изумительный, тонко чувствующий произведение и аудиторию. И репертуар он подбирал такой, что не укладывался в идеологические рамки. То есть герои рассказов были

один на один с миром, всё решали за себя сами и сами себя строили. Места пионерской и комсомольской организации в их жизни не оставалось.

Поразительным образом Зайчику удавалось учить нас рисовать. Не желая его обидеть, мы изображали корявые кувшины, вазы, дегенеративные цветы и усваивали основные приемы графики.

А рисовалщиком Александр Александрович был, на наш взгляд, потрясающим. Мы, вообще, воспринимали как колдовство, когда он одним движением руки оставлял на доске идеальную окружность, когда белый мелок делал черную доску выпуклой — так он умел изображать предметы. Мы никогда не видели его рисунков на бумаге, но может быть, в тайне его биографии крылось нечто, что заставляло мир вещей воспринимать как белое, а действительность — наоборот.

ФРАНЦИСКА МИХАЙЛОВНА

Фамилии ее, у кого я ни спрашивал, не помнит никто. Можно было бы справиться в кадрах горено или городском архиве, но это уже не то.

Маленькая, некрасивая, уже пожилая, с копной черных и на вид негнущихся волос, в очках с толстыми стеклами, она преподавала географию.

Для детей полузакрытого кораблестроительного гетто география была суррогатом путешествий. Мы путешествовали по картам, играли в игры, называя страну, и нужно было назвать столицу и показать ее на карте, или называли город и партнер должен был найти его. Мы путешествовали по Тибету и Атакаме, пересекали океаны, швартовались в Парамарибо и Вальпараисо, Плимуте и Хобарде, поднимались вверх по течению Нила и спускались вниз по Амазонке, Брахмапутре и Меконгу, знали сколько километров от Лондона до Кейптауна и Сингапура, от Владивостока до бухты Провидения, от Гавра до Нью-Йорка, знали самые глубокие

океанские впадины, самые высокие горные вершины, основные реки, моря и озёра. Карты для нас были путеводителем по миру.

К слову, сегодня, когда за относительно небольшие деньги можно забраться не только куда Макар телят не гонял, географический идиотизм населения приводит в изумление. Недавно пришлось смотреть шоу “Первый миллион”. На пороге приличной суммы молодой женщине с высшим гуманитарным образованием выпадает вопрос: “Какая из перечисленных рек течет с севера на юг: Рейн, Обь, Инд, Нил?” Сначала девушка полагала, что Обь (прошу заметить, девушка из России). Потом в соответствии с правилами попросила убрать два неверных ответа. Остались Инд и Нил. Игрок забилась в судорогах сомнений и попросила помочь зала. Зал семьюдесятию с лишним процентами отдал предпочтение Нилу. Впечатление было предынфарктное.

Вообще, мне кажется, что у человека в этом физическом мире только два ориентира — время и пространство. Поэтому незнание истории и географии дает возможность проходящим манипулировать невеждами так, как они того заслуживают, и даже как не заслуживают.

Франциска Михайловна со своей слегка утиной походкой никак в нашем сознании не вязалась с Марко Поло, Колумбом, Лазаревым, Пржевальским, рюкзаком, палаткой, лошадьми, верблюдами, парусниками и другими более современными транспортными средствами. Она не любила свой предмет. Ей было скучно рассказывать о субтропиках и тундре, муссонах и пассатах, океанских течениях, вулканах и сейсмических зонах. Плохо скрываемая скука принималась нами за тайное высокомерие. Она ни на букву не отступала от учебника, и нам тоже было скучно. Мы не любили Франциску Михайловну, она нас. Мы срывали её уроки беспощадно, тем более, что у нас в классе учился способный парнишка, которого именно она оставила на второй год. Популярности ей такая её принципиальная твердость не прибавила. Не буду рассказывать о том, как мы доводили ее до слез, как она жаловалась на нас классному руководи-

дителю и директору школы, как по ее требованию половине класса были снижены оценки по поведению, что даже отразилось на некоторых судьбах.

Дело в том, что — как каждое поколение детей, с начала двадцатых годов прошлого века и до сего дня — мы стали жертвами очередной школьной реформы. Удивительное это министерство просвещения. И министры, и чиновники в эти восемьдесят лет как будто бы поставили перед собой цель делать образование с каждым годом хуже и хуже. Сколько кандидатов педагогических (?) наук опробовали свои выморочные теории на детях, чтобы стать докторами! Сколько первоклассных учителей ушли из школы, не выдержав изdevательств над детьми и собой! И самое печальное, что это продолжается — и в еще большей степени.

Та реформа заключалась в том, что детей с семилетнего и десятилетнего образования переводили на восьми- и одиннадцатилетнее. Организовали профессионально ориентированные школы (столяры, токари, слесари, даже пионервожатые — тоже профессия), расформировали сложившиеся классные коллективы, порвали образовавшиеся духовные связи... И какой в этом был "высший" смысл и государственная необходимость? Многие из тех, кто собирался заканчивать десять классов, пошли в техникумы — лучше через четыре года получить диплом среднего специалиста и уверенно поступать в институт, чем через три — сомнительный рабочий разряд и загреметь в армию. Вот здесь и сказалась оценка по поведению — в техникумы с "хорошим" поведением даже документы не брали. Так что Франциска Михайловна напакостила многим.

После школы очень скоро нелюбовь к ней сменилась безразличием. Но что удивительно — она помнила многих "хулиганов" и при плохом зрении замечала их на улице и, стараясь избежать встречи, переходила на другую сторону.

Прошли годы, и я случайно узнал историю Франциски Михайловны. Она была ровесницей революции, может быть, на год-два старше. Ее отец, по-видимому, старый большевик, с самого начала установления международных кон-

тактов советами оказался в дипломатическом корпусе чеченско-литвиновского розлива. Так маленькая Франциска Михайловна оказалась в Париже, где окончила привилегированную школу, а затем — филологический факультет Сорбонны. Кроме русского языка она знала французский, испанский, итальянский, немецкий, английский, древнегреческий и латынь. В 1938 году ее отца срочно вызвали в Москву с семьей “для перевода на новое место работы”. Он прекрасно понимал, что с вокзала их повезут прямо на Лубянку и долго разбираться не будут. Поэтому он спрятал жену и дочь у французских друзей, а сам уехал в Союз, где его благополучно расстреляли. Мать вскоре умерла, и Франциска Михайловна осталась одна.

Как уж она прежила оккупацию Франции, то неведомо, но замуж она не вышла и после войны захотела поехать домой, но французские друзья ее отговорили. Только после смерти Сталина и двадцатого съезда, когда казалось, что все ужасы совдепии позади, Франциска Михайловна твердо решила вернуться на родину, разыскать родственников и тихо доживать в лоне родной культуры, обучая детей или студентов (как получится) иностранным языкам. Однако здесь решали иначе.

Все депатрианты считались изменниками и должны были искупить вину перед Родиной. Те наивные, которые поверили Сталину и вернулись в Союз сразу после войны, получили по десять лет лагерей, с теми же, кто поосторожней, и “попросился” на родину в конце пятидесятых-начале шестидесятых поступали “гуманнее”. Проверив досконально анкетные данные, их направляли на жительство именно туда, где не было родственников, в полузакрытые или закрытые города, с запретом посещать Москву, столицы союзных республик, крупные культурно-промышленные центры и открытые порты. Они должны были ежемесячно являться в областное управление КГБ для беседы. Такие иезуитские меры оправдывались возможностью якобы подрывной деятельности бывших, а по сути были изощренным издева-

тельством, чтобы репатриант почувствовал масштабы своей вины и своей обездоленностью ее искупал.

И Франциску Михайловну определили в Николаев, город ей чуждый во всех отношениях. Тогда в нем было около трехсот тысяч кораблестроительного населения, три театра — русский драматический, украинский музыкально-драматический и ТЮЗ, пять или шесть средних специальных и два высших учебных заведения и четыре десятка школ. Всё население так или иначе было связано со строительством кораблей, работой тяжкой и многими воспринимаемой как повинность и возможность заработка для содержания семьи. Контакты с иностранцами исключались не только в настоящем, но и в необозримом будущем, поэтому изучение иностранных языков и в школе и вузе далеко по престижности отстояло от точных и естественнонаучных дисциплин.

Ну и бог с ним, но дайте же работу и родную, и любимую. Так нет же. И тут поиздевались — никаких часов, кроме географии, нет. Хотите — берите, не хотите — ваша воля. И стала Франциска Михайловна преподавать географию, вымешая обиду на своих учениках. Нет-нет, я ни в коем случае не осуждаю ее. Просто, когда человеку всё время подчеркнуто дают понять его ненужность со всеми его талантами и знаниями, он цепляется за любую паутинку, чтобы хоть как-нибудь утвердить себя. Иногда это называют принципиальностью.

ВОЛКОВ

Имя и отчество Волкова я забыл. Я не учился у него, я его наблюдал. Прошу заметить, не за ним. Он работал завучем в областном интернате для сирот и полусирот, а жил в трущобе на Старом Водопое у реки, снимал комнату у старушки. Внешность у него была ирландская: рыжий, ростом около ста девяноста сантиметров, неширокий в кости, но очень сильный. Было ему в ту пору немного за пятьдесят.

Что такое был этот интернат и эти деточки можете себе представить — большая часть безотцовщина с мамами, чьи

родительские права уже были под сомнением, или дети живых родителей, лишенных этих самых прав, немногие — круглые сироты. Почти все они находились на учете в детской комнате милиции, пополняли спецшколу на Аляудах или колонии для несовершеннолетних. Девочки с восьмого класса или даже раньше открыто занимались проституцией. Микрорайон от деток терпел очень сильно. Единственным методом воспитания были репрессивные меры, что еще больше ожесточало воспитуемых. Так продолжалось до тех пор, пока в интернате не появился Волков.

Прежде всего от него пострадали преподаватели. После посещения занятия любого учителя, разбирая ход урока, он выказывал профессиональное знание предмета будь то математика или биология, химия или немецкий, физкультура или история. Он никогда не повышал голоса, не говорил о небрежной подготовке к уроку, а просто делал замечания, указывал на ошибки учителя и без тени превосходства давал рекомендации. Спустя две-три недели он снова приходил на урок, и если преподаватель продолжал халтурить, предлагал искать другую работу. Больше всего учителя боялись болеть. Волков никогда не менял расписание, а приходил на замену сам и давал плановый урок. Создавалось впечатление, что он всегда готов к любому занятию, была это литература, тригонометрия или экономическая география. Вел уроки он виртуозно, и после него работать было нелегко. Единственным предметом, который он никогда не посещал и не подменял, было загадочное обществоведение. Какой моральный урод в припадке благонамеренных позывов выскошил с предложением преподавать школьникам оскапленную то ли философию, то ли социологию, или краткий курс научного коммунизма!? Читал сию дисциплину маленький, злобный и подлый зам. директора по воспитательной работе. Вот он как раз наблюдал за ним и, по мере сил, за остальными. А сил этих у него было немеряно. Понятно, что с Волковым они враждовали. По любому поводу “главный воспитатель” бегал, если не в райком партии, то в горено, кляузничать (а может, и еще куда). Волков же, выполняя его функции, частенько посещал

отделения милиции и детприемник, фактически беря на поруки правонарушителей-недорослей. Дети его любили и, самое главное — уважали. И боялись, но не так, как "воспитателя", того боялись, как притаившееся ядовитое насекомое. У Волкова боялись потерять кредит доверия.

Дисциплину он завел железную. Не в половине седьмого, а в 6.30 он уже был в интернате и за полчаса до подъема успевал увидеть и узнать всё, что произошло за время его двенадцатичасового отсутствия. Он всегда был подстрижен, побрит, выстиран и отглажен, несмотря на то, что жил бобылем. Вставал он — праздники-не праздники — в пять часов, бегал, делал зарядку, развлекался с гирями и обливался водой. И при этом был у него порок — Волков пил. Но никто и никогда не видел его пьяным, и даже запаха от него не унюхивали. В общем, на советского человека он похож не был.

Собственно говоря, Волков и не был советским человеком. Его отец, полковник белой армии, эмигрировал в Китай, где у него родился сын. Мать Волкова при родах умерла, а отец переехал в Японию. Там будущий завуч интерната для советских сирот при вполне живых родителях учился в японской школе до пятнадцати лет, когда умер отец. Страна восходящего солнца в эти годы стала претендовать на мировое господство, а Волкова с этой политикой ничего не связывало, и он при помощи друзей отца смог перебраться в Англию, где доучился в приличной школе, а потом в Кембридже получил дипломы математика и филолога. Во время второй мировой войны он служил в королевской армии и даже был в первых рядах десанта в Нормандии в 1944 году, за что награжден медалью. Там его ранило, и больше на фронт он не попадал.

Что-то у него не сложилось после войны, и в начале шестидесятых он приехал в Страну Советов, где ни в чьих и ни в каких советах не нуждались, потому что все знали, благодаря всесильному учению, и заперли героя второго фронта в Николаев, где он нашел родственников в детях, брошенных отцами.

Волков был ироничен и любил пошутить, но юмор его очень отличался от николаевского и был немного мрачноватым.



КИНБУРНСКИЕ РАССКАЗЫ

ДОРОГА

Для одних Кинбурнская коса — место обетованное, для других — проклятое. Отдыхающий-первоходец, конечно, предупрежден о трудностях пути туда, но едет, потому что облыщен рассказами о прелестях. Автобус — катер — снова автобус, дорога по кучугурам, а потом — комары, кровососущие мухи от крупных оводов до едва заметной сволочи, чахлая сухая трава — всё это заставляет первоходца недоумевать по поводу человеческих странностей и проклинять свою доверчивость. Но если у этого отдыхающего есть хоть капля авантюрной крови и дар общения с природой, он захочет приехать сюда еще не раз.

Пройдет после отпуска неделя-другая, забудутся транспортные неудобства, насекомые, примитивные отхожие места, хлеб паршивой выпечки, цены и останется в памяти двадцать километров первозданной полоски песчаного пляжа с морским мусором, выброшенным прибоем, волна,

шуршащая мелкими ракушками, редкие парочки, бдительно озирающиеся по сторонам, одинокий любитель бега, рыжее пятно лисы, мелькнувшее в хвойной зелени, или любопытный заяц, выглядывающий из-за куста, потрясающие закаты и море, море.

Добираться сюда и правда нелегко. Едущий на Косу как бы выдавливает себя из большого мира сначала в меньший мир Очакова, потом в еще меньший мир морского порта, где в ожидании катера собираются чающие движения к ней. Ее видно. Вернее, видна ее окончность — темная линия на горизонте, теряющаяся в море. Будущие пассажиры кучкуются в портовом скверике. До отхода катера еще два часа. Билеты — при посадке. Можно не суетиться. Все расслабленно-ленивы. Многие знакомы. Сумки, рюкзаки, кравчушки, удочки в чехлах, кто-то с собакой... Вот два приятеля обрадовались встрече и двинулись в "Волну" отметить событие. По виду оба из Николаева, и можно быть абсолютно уверенным, что там они практически не встречаются. По дороге к ним с приветствиями присоединился классический третий, и тут же они увидели еще одного, спускающегося по дороге в порт. Гармония нарушенена — вместо трех "по сто" придется брать бутылку, хотя у каждого с собой есть. Движение началось.

Раньше, тому лет двадцать и до того, происходило не так. Коса была пограничной зоной. Билет нужно было покупать в кассе, предъявив пропуск или паспорт с местной пропиской. Да еще пограничники при посадке на катер проверяли документы. Провести неделю-другую наедине с Вселенной становилось проблемой, впрочем вполне решаемой. Был другой путь на Косу: из Николаева в Васильевку ходила "Ракета" на подводных крыльях, потом, в более суровые времена, "Ракету" заменили обычным катером, он шел в два с половиной раза дольше, и народ успевал не только причаститься, но и проспаться. Васильевка находилась вне погранзоны, там пассажиров ожидал тот же автобус, и путь был открыт.

Всё изменилось — упростились и вместе с тем осложнилось. Нет пограничников, нет кассы, и на Васильевку катера

не ходят. Остался один узенький канал, по которому можно перетечь на Косу, — катер из Очакова типа "озеро-море" или ОМ. Поэтому стремящиеся к благодати вдавливают себя в пространство ОМика. Капитан Александр Палыч стоит на мостице и равнодушным взглядом Харона наблюдает за посадкой, помахивая рукой многочисленным знакомым. "Отдать швартовы — Лево руля — Малый назад" — и катер, пятясь выбирается из недостоенного портовского ковша к той линии, где воды лимана сталкиваются с морем.

Ходу около часа, и за это время можно услышать все новости об изменившихся порядках на Коце и сплетни. Справа проплывает остров Майский: военный городок, антенное поле, ковш для захода небольших кораблей — всё ухожено, несмотря на общий развал армии. Здесь была часть то ли морской пехоты, то ли морских диверсантов, а сейчас остров охраняют десятка два моряков.

— Слыхали, дочка Кучмы остров приватизировала, — голос уверенного в себе мужчины средних лет в фирменном спортивном костюме и кроссовках. Он с компанией, но говорит так, чтобы слышали другие. Они новички. Это на корабльной палубе под тентом. С другой стороны женский голос, тихий:

- Говорят, с грибников теперь деньги брать будут.
- И как это они себе представляют?
- Сказали, на берегу будут взвешивать.
- Придурки.

Компания из четырех приятелей распалась, и теперь уже двое применяют пластмассовые стаканчики по назначению, но без усердия — это еще не самый трудный отрезок пути.

Катер поворачивает к берегу. Канал между мелями отмечен вехами и буйками. Их ставила сама команда. Наконец, ОМ разворачивается, и мы швартуемся левым бортом к причалу. Его функции выполняет проржавевшая баржа с наваренными железными мостками. Берег серый, вода в лимане цветет, кромка ленивого прибоя отмечена хлопьями пены, плавают домашние гуси. Кто-то из детей принимает их за ле-

бедей. Автобус ждет на берегу. Толпа выдавливается на берег и тут же утрамбовывается в автобус.

Автобус — это песня. Во-первых, он вовсе не автобус. Это автомобиль "Урал", у которого вместо кузова будка — некое подобие салона с относительно мягкими сидениями. Сообщение с водителем через кнопку — в кабине зажигается сигнальная лампочка. Даже идя на рекорд книги Гиннесса, все прибывшие на катере не в состоянии вдавиться в салон "Урала". На этот случай предусмотрен тракторный прицеп с досками-скамейками вдоль бортов. Кто не занял места на скамье устраивается, как может. Все набились? Поехали.

Дорога по песчаным дюнам. Собственно, дороги нет. Их несколько. Это колеи в песчаной почве, они пересекают друг друга под разными углами, образуя рельеф стиральной доски, и все ведут... — в Покровку. Амортизация у "Урала" — не плацкарта. Пассажиров кидает, как космонавтов на тренажере, все сгруппированы, пальцы вцепились в любое привинченное, неподвижное, надежное, но всё равно — болтает, как китайских болванов. Это при том, что Витя, водитель, максимально бережет пассажиров.

Витя — джентльмен. Он всегда выбрит и подстрижен, постиран и поглажен, приветлив, предупредителен, обязателен, отзывчив, незлопамятен и, стало быть, не жлоб. Он любит выпить, но немного и нечасто. Останавливается по первому требованию, выбирая дорогу так, чтобы каждый тащил свои клумки к дому как можно меньше. Его, как и Александра Палыча, трудно удивить — такого, столько и таких они видели. Они мгновенно оценивают человека, натура которого, вся прошлая жизнь и нынешнее положение вылезают на перевозе, как яйцекладущее появляется на свет.

Витя попал на Косу чуть больше двух десятков лет назад. Они с Наташей только что поженились, и ее с новеньkim дипломом специалиста рыбного хозяйства направили на работу технологом строящегося мидийно-устричного цеха ООМУРКК. (Эта убийственная аббревиатура расшифровывалась как Очаковский опытный мидийно-устрично-рыб-

ный консервный комбинат.) Витя, как жена декабриста, поехал за женой. И оба об этом не жалеют.

Наконец, доехали. Уже около пяти вечера. Путешествие длилось целый день. Так устроено, видимо, потому, чтобы невзгоды паломничества не накладывались на впечатления от общения с Косой.

Задолго до христианства один философ утверждал, что только путем страданий можно прийти в страну блаженных.

Но это завтра.



Летом население Косы увеличивается втрое-четверо, а когда и больше. Его структура определяется отношениями между тремя группами: потомственные местные жители, приезжающие на лето дачники и отдыхающие. Последние неоднородны. Основная их масса давно накатала сюда дорогу, они останавливаются у одной и той же хозяйки каждый год, стали уже почти родственниками, привозят подарки и делятся семейными проблемами. И есть дикари. Как правило, это молодые люди, которых авантюрный зуд и жажда экстрима заставляют отыскать в кладовке отцовскую палатку, пожеванную мышами, латаный рюкзак, одолжить у приятелей советский надувной матрац, обязательно дырявый, запастись консервами, прихватить с собой романтическую дурочку (она очень скоро поумнеет) и пуститься на поиски

приключений. На второй день они натыкаются на сотрудников природоохранного ведомства, которые призваны напоминать, что все мы являемся членами социума.

Дачники — особая порода. Это солидные люди средних лет, большей частью интеллигенция, но с крестьянскими генами и марксистским сознанием. Жажда собственности вынуждает их забывать нагорную проповедь и находить жизненную опору в "моём".

Еще в далекие семидесятые прошлого столетия Кося жила почти так же, как в XIX веке. Две деревни — Васильевка и Покровские хутора — в десяти километрах друг от друга на лимане и село Покровка на берегу Ягорлыцкого залива. В Покровке — церковь. Как и было положено, во времена исторического материализма из нее сделали сельский клуб. После очередных танцев церковка сгорела. Видать, уж очень силён был накал бесовщины.

Покровка — административный центр. Никаких предприятий, кроме рыбколхоза, и того правление — в Васильевке. Связь с внешним миром сложная. Жизнь, как в подводном царстве. Внуки аборигенов стали бежать в иные города и веси. Старики не вечны, и стали наследники продавать родовые поместья. Тому лет тридцать можно было купить хатынку с землей чуть дороже холодильника — от двухсот до пятисот советских рублей. Да и потом до начала девяностых цены росли очень медленно. Советские интеллигенты с комбетовской закваской, оскорбленные четырьмя сотками в дачных кооперативах, обрели реальную возможность стать владельцами загородной фазенды. В первые годы независимости количество дачников резко возросло. Их стало едва ли не больше, чем коренных, и на кровно заработанные и на шальные развернулось строительство апартаментов на зависть туземцам. Более или менее убогие архитектурные проекты обязательно вступали в противоречие с материальными возможностями. Самым трудоемким и дорогим оказалась доставка строительных материалов. Тем не менее, преодолевая все трудности, новые землевладельцы напрягали мышцы, кошельки и фантазию, возводя одно — и двух-

этажные, с мансардами и без, и простые параллелепипеды из камня и бетона, и с претензией. Все стили — от мавританского до супремата — нашли здесь свое воплощение. Однако очень скоро легкомысленный дилетантизм принес плоды. В материалистическом сознании собственников никак не помещалась мысль о том, что во всё, сделанное человеком, вложена его душа. Так, машины имеют свой норов, и даже топорище, сделанное с любовью, лнёт к руке, и топор, как будто бы сам и рубит, и тешет. Дом, как любое творение человека, нуждается в общении, в нем нужно жить, а за восемь месяцев без хозяина он опускается, как бомж. Начинает сыпаться штукатурка, отклеиваются обои, от осадки фундамента появляются трещины в стенах, земельный участок дает приют подозрительным растениям. Да и новая генерация со скепсисом смотрит на труды предков. По глупости их пока влекут Парижи, Нью-Йорки, Лондоны, на худой конец — Киев. И зарастают травой недостроенные корты, бассейны, не знавшие воды, покрываются абстрактной графикой трещин, в конюшнях живут грызуны, пауки раскидывают сети в углах гостиных, залов, биллярдных, столовых, спален, детских, кабинетов...

Аборигены с мудрым спокойствием всё это предвидели, наблюдали и продолжают наблюдать. Опыт семи поколений бьется в их жилах с частотой шестьдесят ударов в минуту, и давление не превышает пределов возрастной нормы.

Оседлое население с исторической памятью появилось на Косе в двадцатые годы XIX века. До сих пор здесь живут Бородины и Книги. Предание говорит, что Бородины — потомки солдат-героев Бородинского сражения, которым пожаловали эти земли, а Книги — это ссыльные грамотные крестьяне или клирики, которые, начитавшись, много стали понимать и начинали качать права. "Грамотных" у нас никогда не любили. Так награжденные и наказанные получили каждый свое — землю. Но какую! Песок и два десятка озер с соленой водой, редкие ольховые рощицы там, где пресная вода выходила на поверхность, и заросли акаций. Строили оригинально: забивали в песок в два ряда колыа из акаций,

обмазывали их раствором из глины, которую возили двадцать верст, сена и кровьего навоза и засыпали внутрь чего ни попадя: сухой строительный мусор, камыш, водоросли и пр. Получались стены. Они хорошо держали температуру. Крышу крыли камышом, и огороды огораживали тем же камышом. Так постепенно зарождалось нехитрое крестьянское хозяйство — корова-две, птица, овцы, конечно, собачки и кошки. Кормились еще с огорода и моря. Можно себе представить, сколько труда нужно было вложить в песок, чтобы получился огород. Выручало море.

Когда говорят о проституции, иногда то ли стыдливо, то ли иронично заменяют это слово эвфемизмом "древнейшая профессия". Трудно здесь выделить долю иронии или желания соблюсти приличия, но от частого повторения и то и другое как-то утратилось, и нередко употребляющий эвфемизм полагает, что это действительно так. Думаю, древнейшая профессия — это охотники и рыбаки. Промысел трудный, опасный и требующий не только глубокого знания природы, но и чувствования её. Рыбак читает ветер, воду, облака, небо, солнце и луну. В уме ему нужно сложить направление и силу ветра, цвет, вкус и запах воды, поведение раков, креветок, чаек, бакланов, высоту и качество облаков, цвет неба и солнца на закате и восходе, фазы луны, помнить, погоду в это время года и в этот день год, два, три и больше лет назад, и решить, где, как, когда и какую рыбу ему ловить.

На лимане промышляли судака, леща, сазана, рыбца; в море — в зависимости от сезона. В мае-июне был ход осетровых. В трехстах-пятистах метрах от берега ладили ставники — хитроумные ловушки из сетей, куда рыба заходила, но выйти не могла. Немного позже появлялась скумбрия, во второй половине августа — кефаль. Три зимних месяца промышляли белугу. В негнущихся брезентовых робах, на шестиметровых плоскодонных просмоленных баркасах рыбаки уходили на веслах далеко в штормовое море и, если повезет, возвращались, а если вдвойне, — то с рыбкой в несколько центнеров весом и тремя-четырьмя ведрами черной

икры. Один старожил рассказывал, будто бы икру выбрасывали, только вряд ли. Трудно вообразить: темное низкое небо, хаос волн, мороз, ветер, корка льда на баркасе, на веслах, на робе и сопротивляющееся полутонное чудовище — и только руки, смекалка и мужество. Несколько лет такой работы, и руки грубели настолько, что пальцы не сгибались в кулак. Дрались поэтому открытой ладонью, но ладонь эта была, как доска, — сплошная мозоль, нарости и шрамы. Рыбу солили, коптили, вялили, возили продавать в Очаков и Одессу. Так жили десятилетиями. Советская власть почти не наложила отпечатка на эту жизнь, разве что только дом в Покровке, где до недавнего времени была библиотека, до сих пор называют "домом раскулаченных".

"Халатами" жителей Косы назвали одесситы. Местная почва давала и до сих пор даёт обильные урожаи клубники. Поселковый совет договорился с Аэрофлотом, и в глухие брежневские времена покровчане арендовали вертолет, чтобы вывозить клубнику в Одессу. В засушливые лета озеро в центре Покровки у церкви высыхало, образуя идеальную посадочную площадку. Десяток тётов с корзинами клубники грузились в вертолет и через тридцать минут высаживались в одесском аэропорту, откуда еще полчаса добирались до Привоза. Как-то в покровский сельмаг завезли массу вельветовых халатов с пугающим черным орнаментом по оранжевому полю. Каждая хозяйка набрала халатов впрок. Собираясь на рынок в Одессу, торговки клубникой один халат надевали на себя, а второй, чтобы поберечь первый, повязывали как передник. Наблюдательные одесситы сразу отметили униформу покровских баб и окрестили их "халатами". Уже давно не выращивают на Косе клубнику в таких объемах, уже нечасто в небе над Косой можно увидеть вертолет, уже стенили многие халаты, хотя их останки можно и сегодня встретить в качестве половых тряпок и ветоши, а прозвище живет.

Халаты не любят тех, кто приехал и осел здесь. В отношении нет враждебности. Они пользуются знаниями, умениями и опытом переселенцев, но те для них всё равно чу-

жаки. Халаты видят большой мир телевизора и чувствуют себя ущербными — у пришлых за плечами красивая жизнь в больших городах и заграницах. Туземцы не понимают добровольного изгнания и восторженного отношения к Коше. Это их родная земля, скудная, забытая людьми и Богом.

В конце семидесятых отставной подполковник Владимир Ильич Ещенко купил в Покровке домик и стал заниматься делом, с точки зрения аборигенов, диким — разводить голубей. Потомственный одессит, Ильич Второй, как он себя называл (Брежнев — третий по его табели), голубями увлекался еще в детстве, был их знатоком и вернулся к этому хобби на пенсии. Еще более дико смотрели халаты на концертный рояль, который выгружали из машины шесть здоровенных мужиков и на лямках затаскивали в дом. Прошло некоторое время, страсти улеглись, Ильича признали как телемастера — военный связист, он хорошо разбирался в телевизорах. Как-то к нему подошел директор школы и спросил, сможет ли он заменить ушедшую в декрет математичку, пока из облоно не пришли замену. Для развлечения Ещенко согласился. Покровская десятилетка — это пять-восемь человек в каждом классе, то есть идеальные условия для обучения. Ильич, последние десять лет службы преподававший в Житомирском военном училище высшую математику, придумывал для детей математические игры, заставлял искалечь неординарные методы решения задач из учебников, увлек детей математической логикой и через два месяца стал любимым учителем. К урокам он никогда не готовился и не открывал методических рекомендаций. А в облоно не торопились. По истечении этих двух месяцев с плановой проверкой приехала методист из района, побывала на уроке Ильича и ахнула — он же не так учит детей. Владимир Ильич резонно возразил: есть программа, проведите контрольную работу и убедитесь, соответствуют ли знания программе, важен ведь результат. Но методиста испугало то, что Ильич не натаскивал детей, а учил их думать. Дети только начали постигать искусство самостоятельного мышления и получать от этого удовольствие, что и испугало методиста. Заме-

ну нашли очень быстро, и это несказанно огорчило детей. Они еще долго ходили к Ильичу, но он никогда не принимал гостей в доме, и все беседы проходили во дворе. Последняя странность объяснялась тем, что у Ильича, несмотря на то, что он бывший военный, дома был страшный беспорядок. У окна на письменном столе валялись радиодетали, шасси телевизоров и приемников, паяльники, канифоль, припой и принципиальные схемы устройств. Посередине большой комнаты стоял рояль, и на нем вновал лежали книги, кроме тех, что хранились в шкафах. Здесь можно было найти труды по математике, астрономии, физике твердого тела, жидкостей и газов, по астрофизике, электро- и радиотехнике, но также историю, философию, русскую классическую литературу и поэзию. Он любил и многое помнил наизусть из Пушкина, Есенина, Вийона, Лорки и, как ни странно, Рильке. Здесь же на рояле отдельно лежала стопка альбомов с нотами.

Ильич любил ходить в гости. Приглашали его приятели из дачников и обязательно с гитарой. Пел Ильич только для тех, кого уважал. "Угощая" им кого-нибудь из новеньких, хозяин рассказывал о нем легенды, но гости сначала снисходительно относились к Ильичу, ведь рассказчики склонны к гиперболам. Но стоило Ильичу взять первые аккорды и запеть, снисходительность уступала место удивлению, а затем восхищению. Пел он превосходно, без "харьковщины", как говорил Бернес. Репертуар состоял исключительно из русских романсов. Еще в бытность курсантом Одесского военного училища Ильич брал платные уроки вокала и игры на гитаре у преподавателей Одесской консерватории. Он хотел петь романсы и научился этому. Даже квакши умолкали, когда в отсыревшем вечере начинал звучать мягкий теплый Ильич и душевный перезвон гитары.

Постепенно Ильич приобрел уважение и стал авторитетом у халатов. К нему ходили советоваться по всякому техническому, медицинскому и даже сельскохозяйственному поводу и жаловаться на загулявших мужей или сыновей. Этих Ильич-психолога распекал, кого увлекал чем-либо,

и сбившийся с нарезки восстанавливался. Его слушались. Авторитет Ещенко взлетел, когда почта получила на его имя письмо из Великобритании от Королевского географического общества — увесистый конверт с замысловатой маркой. Но скоро к таким конвертам привыкли. Ильич, оказывается, был известен и пользовался авторитетом еще и у голубятников мира и даже публиковал статьи в английском журнале голубятников.

Где-то в Житомире у него была жена и дочь. Дамочка на двадцать лет была моложе Ильича и замуж, видимо, выходила по расчету — за советского офицера, а не за сельского жителя и голубятника. Она пару раз приезжала на лето в Покровку, но отсутствие светской жизни быстро доканывало её. Косу она не понимала и через две недели, забрав дочку, убывала в бестолковость житомирского муравейника.

Ильич умер на третьем году нового тысячелетия от сердечной недостаточности в Очаковской больнице. Никто из халатов на его похороны не приехал.

БАМ

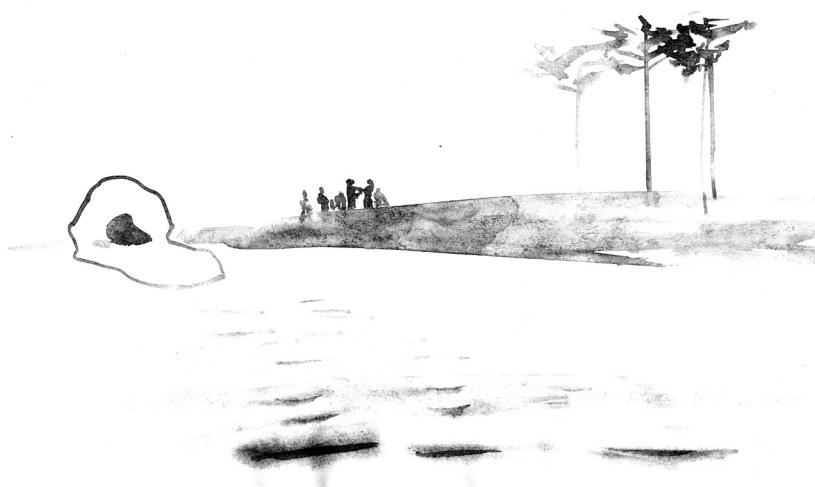
"Море смеялось" — этими словами начинался один из рассказов М. Горького. Литературные критики советских времен ковали, лепили и ткали свое благополучие из "идеологически зрелых и взвешенных" оценок художественного творчества. Горький был вне критики. Эта метафора безоговорочно признавалась гениальной, ею наперегонки взахлеб восторгались, она даже вошла в учебники как классический пример тропа. Однако любой может на пустынном морском берегу, когда тихий вечер переходит в ночь, услышать, как море смеется, весело и задорно, ехидно хихикает и гомерически и зловеще хохочет — то чайки ведут ежевечерние разборки. Море живет своей, одному ему понятной жизнью — сердится, нежится, капризничает, лениво бездельничает, озорничает, буйствует, шалит, дурачит, выручает и губит, помогает и наказывает, грустит, веселится, тоскует,

радуется, любит и ненавидит, уважает и презирает, рыдает и, конечно же, — смеется. И Горькие здесь ни при чем.

Сотни тысяч лет воды Борисфена и Гипаниса несли песок в Понт Эвксинский. Негостеприимный Понт отчаянно сопротивлялся, отражая волнами песчаную экспансию. Коса — плод компромисса между соленой стихией свободных вод моря и раз и навсегда заданным подневольным пресноводным потоком.

С высоты в несколько километров Коса напоминает ствол прилегшего, но живого дерева, корона которого распускается на весь нестерпимо гигантский евразийский материк, а корни от урезанного водой расширяющегося комля уходят в жуткие глубины черноморского Тартара. Кажется, что именно здесь Господь сказал своё третье Слово, и явились суша.

Люди на Коце не селились, но проходили через нее часто. Нет сомнения, что авантюристы из Милета бросали якорь у ее берегов, а может быть, и сам Геракл плонул на песок от досады, что не было здесь места подвигу. Частенько на Коце бывали запорожские казаки — и сегодня еще во время шторма воды лимана выбрасывают на берег казацкие люльки. Столетия простояла Коса пустынной, пока



не осели на ней предки халатов. Однако и с их приходом мало что изменилось — так бережно и с таким пониманием вписались они в природу.

Долго ждала Кося варварского вторжения цивилизации и дождалась. В самом начале семидесятых прошлого века некто подсказал стареющим вождям Страны Советов, что употребление морепродуктов в пищу, особенно моллюсков типа мидий и устриц, гарантирует солдатскую потенцию. Возник проект строительства мидийно-устричного цеха на Кинбурнской косе. Очень удобно — и мидии тут в естественных условиях плодятся, и от людских глаз подальше. Можно было, наверное, в расходную статью бюджета включить закупку устриц за границей, но те порядком подъел еще Стива Облонский, и решили, что строительство комбината обойдется дешевле, а при удачном раскладе можно будет даже продавать за доллары излишки устриц проклятым капиталистам.

В те же годы неугомонное Политбюро изобретало рекультивационный клапан для отвода паров кипящей молодой энергии страны. Прожект поворота северных рек несколько десятилетий мог поглощать задумчивость задумывающихся молодых людей, но где-то там не поднялась рука утвердить злодейские планы, и тогда решили проложить железную дорогу от Байкала до Комсомольска-на-Амуре — БАМ. Байкало-Амурскую магистраль объявилистройкой века. Композиторы и поэты-песенники бросились сочинять мажорные мотивчики и бравые стишочки. Строители магистрали вкалывали по-настоящему и объявлялись героями и получали ордена и медали, и хорошую зарплату. Воровали там тоже составами. Что бы там ни было, а ни один выпуск известий не обходился без репортажей с БАМа, без интервью с героями-проходчиками, прокладчиками, взрывниками, буровиками и пр. Это была первая советская гигантская стройка, где не работали заключенные. Сюда ехали студенческие строительные отряды на лето, ехали постоянные комсомольские бригады, ехали одиночки в поисках заработка, ехали девушки, отчаявшиеся дома выйти замуж, ехали отсидевшие и те, кому еще предстояло сидеть, ехали многие в поисках счастья, да и БАМ в журналистских репортажах представлялся сказочной страной.

Строительство мидийно-устричного комбината на Коше для туземцев было более грандиозным событием, чем строительство Байкало-Амурской железной дороги для всей страны. Во-первых, это большая жизнь пришла на край света и, во-вторых, она сулила работу сейчас и в будущем. И назвали халаты комбинат БАМом. Мидийно-устричное предприятие было и впрямь немаленьким: три бетонных бассейна по полгектара площадью каждый и три с половиной метра глубиной вытянулись друг за другом вдоль между морем и Ягорлыцким заливом, над каждым бассейном двигался мостовой кран; двухэтажный административно-производственный корпус с цехами и лабораториями, котельная с опреснительными установками и механический цех под одной крышей и основательный бетонный причал, к которому земснаряд прорыл от острова Долгого судоходный канал.

Строительство началось с бетонного причала, так как грузы можно было доставить только морем. Цемент у покровских всегда был на вес черной икры, но пока строились причал и бассейны, крали умеренно. А вот со строительства корпусов тащили так, что штукатурка почти без цемента стала осипаться на второй год. Но сколько того цемента нужно Покровке? Несколько десятков тонн хватило с головой — зацементировали и дорожки, и порожки. А вот когда завезли шифер для кровли, халаты поняли, что это шанс, какого больше не будет. И крытая камышом Покровка покрылась шифером. Пришлось прорабам изменять профиль кровель. Их сделали плоскими, закатали рубероидом и залили битумом. Для руководителей комбината в селе построили двухэтажный дом из силикатного кирпича, который тут же назвали "Белым" — дальше американской фантазии не ушла.

Правдами и неправдами комбинат сдали и запустили производство. Предполагалось, что морская вода, поступающая в бассейны, будет подогреваться, и на погруженных в нее десятках каркасов, сваренных из профильного уголка, приживутся колонии мидий и устриц. Периодически мостовые краны будут извлекать каркасы из бассейнов, их будут очищать от моллюсков, тут же последних перерабатывать, консервировать и отправлять по назначению.

Но что-то мидие- и устрицеводы недорассчитали, и подлая морская тварь никак не хотела размножаться в неволе в промышленных объемах. БАМ влакил жалкое существование, и в перестройку его законсервировали — видимо, у Горбачева с Лигачевым и без морепродуктов тогда с потенцией всё было в порядке, а может быть, они сублимировали секулярную энергию, отдавая все силы перестройке. БАМ был на балансе того самого ООМУРКК, и очаковские рыбоделы решили от него избавиться. Их мурманские коллеги, отстегнув кому что следует, взяли БАМ на свой баланс с целью перестроить его в базу отдыха, но случился 1991 год, и оба БАМа постигла одна участь.

То ли еще при Кравчуке, то ли уже при Кучме БАМ выкупил Николаевский морской порт, пока не зная, что с ним делать. Так, на всякий случай. Два сторожа болтались по территории, зарастающей жесткой травой, фазаны и зайцы бесцельно разгуливали среди ржавеющих каркасов, каракурты раскидывали силки и гадюки грелись на потрескавшемся раскаленном бетоне дорожек вокруг бассейнов. БАМ превратился в натуральное воплощение "зоны" из "Пикника на обочине" Стругацких и вполне мог послужить Тарковскому площадкой для съемок "Сталкера".

Шла эпоха "великого грабежа". Незалежному населению незалежной страны раздали бумажки с никому не понятным названием "ваучеры" и ограничили сроки их реализации. Бестолковое незалежное население бестолково посмотрело на бумажки и стало продавать их за копейки невесть откуда взявшимся темным конторам. А сами конторы вскоретихо растворились в мутной воде демократизации. Рентабельные государственные предприятия искусственно разорялись, доводились до банкротства и потом за бесценок приватизировались. Лакомый кусок — морской порт — в одночасье обанкротить не удавалось. Уж как там президенты, депутаты и часто тасуемые министры ни изгалялись, меняя начальников порта, тот продолжал оставаться государственным предприятием. Каждый новый начальник с удивлением обнаруживал на обочине своего хозяйства БАМ и, посещая Очаковский порт и портпункт на Коце, никак не мог не полюбопытство-

вать, что же это за привесок такой, и раза два за лето устраивал на БАМе пикничок с особо доверенными лицами.

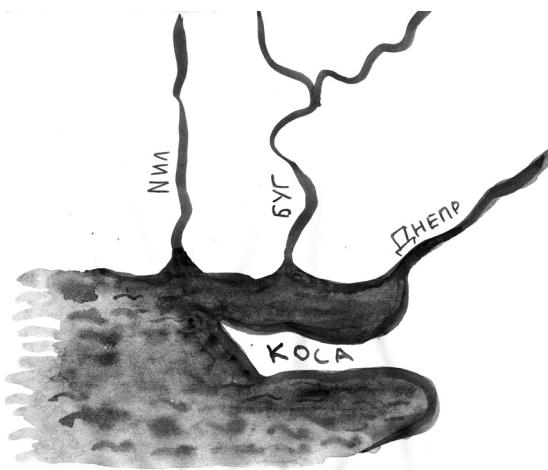
В безвременный промежуток нашей жизни группа николаевских студентов договорилась с мужиками на портпункте, что они две недели поживут на БАМе, заодно и посторожают. Был август. Компания человек пятнадцать — рюкзаки, спальники, две гитары, — как в суровый поход собирались. Многое оказалось лишним. Часть помещений находилась в сносном состоянии, а балкон-солярий вообще прекрасно сохранился. Несколько матрацев, завезенных с портпункта, создавали избыточный комфорт. Прибрались и стали жить: купались, ловили креветку и мелкого бычка, собирали мидий, нюдились, разделившись по половому принципу, балдели, торчали, ловили кайф, тащились от солнца на закате — оно не погружалось в море, а как бы ложилось на воду, постепенно сплющиваясь, принимало форму яйца, потом совсем растекалось по поверхности, и уже не солнце, а море медленно гасло, опускаясь в ночь, — до боли в шейных позвонках смотрели в бездну безлунного неба, междометиями комментируя фейерверк звездопада, и пели. Не под гитару и не сентиментально-романтические туристские песенки. Кто-то из студентов прихватил с собой киевских друзей — молодую супружескую пару с товарищем. Они оказались фольклорным ансамблем, который вскоре, как всё подлинное и по-настоящему прекрасное, был потоплен нечистотами демократических и экономических реформ и попсы. Роман, профессиональный музыкант и руководитель ансамбля, как забытые Кирша Данилов, Петр Киреевский или Гильфердинг, ездил по каким-то немыслимо глухим украинским деревням Полесья и Закарпатья, Волыни и Слобожанщины, собирая свадебные, застольные, поминальные, трудовые песни. Он, как археолог, вникал, вживался в музыкальную культуру далеких предков, бережно и кропотливо очищая древние мелодии от позднейших модификаций, и восстанавливал поющу душу пращура. Пели они а капелла и только тогда, когда вечерние сумерки растворяли майю БАМа, Вселенная начинала пристально и с надеждой всматриваться, помаргивая, в своих детей и где-то там, в солнечном сплетении в унисон с нею начинал биться ритм песни. Их нельзя было назвать грустными или веселыми — слишком

поверхностной была бы такая оценка. Мудростью дремучего язычества были проникнуты эти суровые песнопения, где радость и горе перетекали друг в друга, создавая образ бесконечного Бытия. Отсыревший воздух доносил песни до Покровки и тревожил души халатов. Наиболее впечатлительные приходили послушать, и всех магия древних песен заставляла зябнуть.

Кому сейчас принадлежит БАМ, сказать трудно, но ходят тут какие-то угрюмые агрессивные двуногие в камуфляже, небритостью и помятостью дополняя мрачность разваливающегося надгробия на могиле мидийно-устричной идеи.

Каким-то нелепым и жутким символом на первозданном теле Косы выглядит кирпичная труба и зияющее провалами окон здание котельной, административный корпус с экземными пятнами осыпающейся штукатурки, гигантские бетонные бассейны, изнывающие от жажды, ржавые фрагменты технических приспособлений, цепочка столбов без линии электропередачи и безнадежно ожидающий судов причал.

Коса неуклонно наступает на свидетельство тупой человеческой самоуверенности, и должно прийти время, когда земля и море упрячут в своих недрах останки злоказненной опухоли БАМа. В гармонии с ней только жалобные крики подраненных уток в зарослях камыша в сезон охоты.





НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Планировка жилкововского двора могла вызывать вполне определённые анатомические ассоциации. Узкий в начале, он потом слегка расширялся и в глубине расходился придатками. Семь квартир дворовой утробы вмещали десять семей. При плотности населения четыре с небольшим квадратных метра на душу десять суверенных ячеек государства сосуществовали в состоянии хрупкого перемирия. Что-либо скрыть даже от равнодушного глаза было невозможно. Все обо всех всё знали: от профессии и привычек до особенностей стола и стула.

Война окончилась десять лет назад, но её присутствие ощущалось на каждом шагу: в шрамах, в коврах, привезённых из Германии, в разнокалиберной мебели, составленной из предметов, брошенных эвакуированными в 41-м и отступавшими немцами в 44-м, в проржавевших гильзах и плоских

немецких штыках, которые ходили по рукам пацанов, и в редких взрывах неразорвавшихся в войну бомб, мин, снарядов... Они продолжали уносить глаза, конечности и жизни.

Те, кого война пощадила, возвращались домой героями и натыкались на холодок встречи, едва прикрытый оркестрами и цветами. В той последней массовой войне жизнь полностью зависела от случая, и героем становился любой, кто шёл или кого вели на фронт. Обряд соборования исполнялся чиновниками военкомата. Их похоронили, когда одетые в плохое они уходили, прощаясь серыми лицами. Никто этого не хотел, но так получилось, что они освободили жизненное пространство, и его заняли другие. Их женщины и жильё перешли в руки более приспособленных. И вдруг они — "тоже мне герои" — обманули ожидания: искалеченные, надорвавшиеся войной, они вернулись. Нужно было тесниться. А женщины... — их всегда хватало.

Тыловики не любили фронтовиков. Это была нелюбовь к свидетелю. Прошедшие грязь окопов и преисподнюю передовой оставались тощими, как будто их продолжал гладить глист войны. Лица их — трезвые или пьяные — хранили макияж, наложенный смертью. Пережившие войну в неудобствах глубокого тыла отличались затекающими салом плоскими треугольными задами и плоскими же затылками.

Граждан, которые остались "под немцами", не любили ни те ни другие. Подробностями обстоятельств и причин, почему не был на фронте или не эвакуировался, интересовались только компетентные ведомства. На бытовом же уровне вес имел факт. Поэтому почва для взаимной и вполне осознанной неприязни была у всех.

На десять семей приходилось восемь мужчин. Из них пятеро воевали. Один вернулся без ноги, один — почти глухой от контузии, остальным повезло больше. Все — рядовое пушечное мясо, кроме старшего лейтенанта, лётчика. Он, самый молодой да ещё и женатый на дочери подполковника, замполита своей части, при всей открытости и простодушии чувствовал себя белой костью. Относились к нему с иронией, пригудреннойуважением. Глухой Иван был вроде бы с Западной Украины и жил с семьёй очень замкнуто. Даже

соседи по коридору, дверь в дверь, семья одногоного Петра, знали о них совсем мало. Сам же Петро — щирый украинец, вуса ему — так вылитый Тарас Григорович, только на голову выше — был со всеми по-сельски вежлив, отчего казался простоватым, и с добродушной хохляцкой хитрецой поглядывал на соседей и пацанов, игравших в свои таинственные игры.

Мужчины относились друг к другу сдержанно, оберегая свои и уважая чужие секреты. Женщины были как будто проще и ближе. Они делились кухонным опытом, не всегда безобидно судачили, по-бабы завидовали простеньким нарядам и выручали соседок по мелочам: помогали что-то перешить, приготовить, присмотреть за детьми.

В первые послевоенные годы рождались в основном мальчики. Так природа пыталась исправить человеческую глупость. Стихийные силы двора складывались из шести пацанов, родившихся через два-три года после войны. Это было смерч, ураган, цунами, извержение вулкана и землетрясение — всё вместе.

Играли преимущественно "в войну". С утра и до глубоких сумерек двор сотрясался криками "вперёд", "в атаку", "бей гадов" и гортанными звуками, не предусмотренными кириллицей. Невыносимый кошмар постоянного детского ора заставлял взрослых прибегать к педагогическим хитростям: учили играть в шашки, шахматы, изобретали тихие игры, но чаще напрягали голосовые связки. Всё действовало недолго.

Помог пожар. Случился он до того лет за пять. Тогда за пределами дворового лона, сразу за небольшим забором был какой-то склад. Стояли бочки с соляром, бензином, лежали штабеля досок и ещё что-то горючее. Здесь же находилась конюшня и потому — сено. Было бы странно, если бы всё это однажды не загорелось. Как-то ночью так и произошло всего-то в тридцати-пятидесяти метрах, и мешканцы просидели на улице на узлах до утра, наблюдая, как доблестные пожарные сражались с огнём и победили, когда всё до тла сгорело. Благо, ветра не было. В сравнении с дворовой территорией склада представлялась огромной. Неизвестное ведомство начало здесь с рытья котлована строительство дома, но на этом дело заглохло. За пять лет всё поросло чахлыми

сорняками. На языке пацанов это называлось "развалкой". Сюда, на развалку, выплёскивались мальчишеские страсти. Здесь вынашивались планы, проверялись характеры, закалялась воля. Здесь пацаны из благополучных по тем временам семей играли "в ляндрочку", били "предателей" "по сопатке", мастерили самопалы и карбидные бомбочки.

Кроме пацанов развалку нередко посещали малолетки 14-15 лет. Они здесь курили, в закутке между конюшней и полуразрушенной стеной бывшего склада пили дешёвое вино, устраивали разборки и рассказывали невероятные истории о своих подвигах, виртуозно цвиркая длинной струёй слюны через дырку на месте выбитого зуба. Почти всех их, заражённых уголовной романтикой, кого раньше, кого позже ждала тюрьма.

Приходили сюда и настоящие воры, карманники, одетые в пиджачные пары или тройки, но презиравшие галстуки. Они играли чаще всего в "двадцать одно" и металли банк, расположившись на пиленых камнях. С особым шиком они небрежно вынимали из внутренних карманов пиджаков пачки купюр и, бросив их на землю или камень, прижимали остросошой лакированной туфлём. Эта демонстрация презрения к деньгам вызывала благоговейную реакцию малолеток, выросших в атмосфере постоянных разговоров об экономии, и они готовы были самозабвенно шестерить.

В этом мире действовала смутная система ценностей, и развалка для пацанов воплощала тревожные тайны, опасности и радостный риск свободы.

★ ★ *

В отмеренный законами судьбы час двор приобрёл общегородскую известность. Приходили ближние и дальние любопытные, и пацаны становились для них гидами и летописцами. Криминальная история обрастала вымыщенными подробностями, превращалась в эпос, не имеющий, как известно, начала и конца. Народная страсть к мифотворчеству, устав от военной, нашла выход в новой теме.

Единственная местная газета "Бугская заря" — орган обкома партии — если и пользовалась популярностью, то ввиду

отсутствия известного гигиенического средства. Партийный бомонд просматривал её по диагонали, профсоюзно-комсомольский полусвет выискивал между строк сквознячок "новых веяний", чтобы вовремя, то есть чуть-чуть, ну хоть бы на полноздри впереди, проявить инициативу. Читающий плебес предпочитал "Труд" и "Известия".

И наступил для "Бугской зари" звёздный час. Спрос в несколько раз превысил тираж. В течение нескольких недель номера передавались из рук в руки и зачитывались до лохмотьев. Бум обеспечила публикация с продолжением документальной детективной повести. В ней, в духе популярного тогда Шейнина, было всё: и жестокие изобретательные бандиты, и отчаянной смелости проницательный опер, и тонкий психолог следователь, и интрига, и погоня, и торжествующая справедливость в finale, облечённая в форму приговора... Было всё, кроме правды...

★ ★ *

Участковый младший лейтенант Розумец уполномоченность свою почти не ощущал. Жил он рядом с развалкой, но в другом дворе и с другой её стороны, в таких же коммунальных радостях, что и соседи. Именно это обстоятельство лишало его законного уважения граждан к представителю власти. Но Бог, как говорится, шельму метит — участковый был не дурак и служебное рвение проявлял избирательно. Разумеется, Розумец знал тайную жизнь развалки, но никогда не вмешивался в неё — он понимал, что серьёзных конфликтов там быть не может. Шпана развалку берегла.

Несмотря на относительную молодость, лейтенант отличался наблюдательностью и, что характерно, не пользовался услугами осведомителей. Всё, что происходило на участке, он узнавал от жены, ежедневно фильтруя сплетни, которые она успевала пересказать, накрывая вечером на стол. Это был лучший источник информации.

"Лёнечка, — сорила она словами, — бабы сегодня рассказывали в очереди за мукой, я была сто сорок седьмой, где-то посередине, говорили, на всех не хватит, хотя давали по пять кило всего, но потом ещё одну подводу были привез-

ли, и хватило. Да, говорили, Дуся плакала, что Сергей из четвёртого номера её Осипа опять побил был. Как выпьет, говорит, так лезет с кулаками. Я, говорит, за тебя, гада, кровь проливал, а ты немцу помогал, получай, гнида. Пойду, говорит, в милицию, пусть его посадят, так же жить невозмож но — всё время под страхом ходишь. Только всё она врёт. Ненавидит она Сергея. Когда с фронта он пришёл, Дуську с Осипом уплотнили были — а они, как баре, фешемебельно вчетвером в трёх комнатах да ещё коридорчик, где примус, жили. Серёгу с семьёй в одну комнату вселили, и коридорчик стал общий. Дуська серёгиной Полине начала гадить, чаще всего керосин из примуса отливала. Полина её была застукала и Сергею сказала, а он под градусом был, ну и набил Осипа, чтобы за бабой своей следил. А с Гришкой из шестого номера ты что-нибудь сделай. Он то кошку повесит, то по голубям из рогатки бьёт. Балбесу уже двенадцать лет, хоть что-то понимать должен, а он, знаешь, что учудил? Колет дрова, и подходит к нему сонькин Шурка, дитя малое, шести ещё нету, Гришка-придурок говорит ему — хочешь фокус покажу? Положи палец на чурку. Шурка положил, а Гришка тюк топором — и палец отрубил. Ой, Лёня, не хватай горячее — с им много хлеба идёт. Ты бабке Фросе пригрози, пусть язык завяжет, а то всё на советскую власть жалуется, говорит, немцы лучше были — разрешали семечками торговать."

"Дина, вы со своими бабами про кого что хорошее говорите?"

"А я плохое про кого сказала? Разве про Гришку-придурка. А на что тебе хорошее? Ты же власть."

"Потому что власть, мне надо всё знать — и плохое, и хорошее."

"Да что хорошего, Лёнечка? Все люди как люди. И плохие, и хорошие. Серёга выпить любит. А кто не любит? Они все, кто на фронте был, пьют. Победу празднуют, победители. Но мужик он — ничего, всегда поможет, сам знаешь. Ольга спекулирует потихоньку, а баба добрая. Дуська с Осипом вредные, так и другие не сахар. Вот про Ивана Приходьку и Верку его ничего плохого не скажешь, люди смиренные. Он никогда никому слова дурного не скажет, да от него и мата

никто не слыхал и пьяным не видали. И Верка его — хозяйка. Западенцы, они все такие."

"Какие?"

"Работающие и хозяйствственные."

"Баштанские они."

"Вроде бы среди наших работающих мало. А что кур десяток развели, и их за то куркулями зовут, так то от зависти, что у них всегда яйца свежие."

Такая информация для Розумца была бесценна. Может, какой другой участковый мент принимал бы её за болтовню, но для нашего лейтенанта самым главным было общественное мнение, так как жизнь свою он корректировал с оглядкой и назад, и вперёд.

Начало его биографии терялось в сейфах отдела кадров, сослуживцы знали о нём не больше, чем нужно было Розумцу, соседи — того меньше. В армию его призывали откуда-то из Средней Азии весной сорок третьего, когда после разгрома немцев под Сталинградом победные настроения заражали новобранцев мало оправданным оптимизмом. Курс молодого бойца, присяга, но эшелон по дороге на фронт разбомбили немцы. Контуженный Розумец полежал в госпитале, а потом неожиданно обнаружил себя во внутренних войсках под Карагандой, быстро присмотрелся, "понял службу" и к новому сорок четвёртому году уже носил на погонах три лычки, однако без дурацкой гордости. Тогда же он написал рапорт о переводе на фронт (так нужно было — все писали, и почти всегда безрезультатно), но что-то где-то сложилось не так — в конце февраля он был уже под Херсоном и если не все, то многие "прелести" окопного быта телом своим потрогал. В конце марта, когда наши входили в Николаев, немецкие артиллеристы огрызнулись, шарахнув несколько раз из Варваровки, и осколок брускатки угодил Розумцу в то место, откуда надо лбом начиналась его роскошная шевелюра. И судьба приземлила старшего сержанта в Николаеве без заметных последствий для здоровья. Последнее обстоятельство он, поумнев, стал по возможности скрывать, и его комиссовали. В госпитале отвоевавший Розумец познакомился с младшей медсестрой Диной, а когда выяснилось,

что она николаевская, они, к великой её радости, поженились. Так Розумец решил проблему жилья. Сержант с неоконченным средним и без профессии не мыкался в поисках работы, а сразу в военкомате принял предложение пойти в милицию. Ох и пригодились ему те несколько месяцев службы в карагандинской степи. Вскоре он носил уже погоны старшины, а когда сдал экстерном экзамены за десятый класс, то не прошло и трёх лет, как на каждом плече у него уже было по маленькой звёздочке, и стал он участковым уполномоченным. Вот тут удача решила от него отдохнуть.

Ко времени нашего рассказа Розумец, стремительно полысевший после ранения, до неприличия походил на вождя мирового пролетариата, выглядел старше своих тридцати и, может быть, поэтому скорее других перестал полагаться на капризы естественного течения и жёстко ограничил свои жизненные устремления перилами служебной лестницы. Он никогда никуда не опаздывал, посещал все совещания и собрания и в высшей степени серьёзно относился к дежурству по райотделу, которое выпадало ему два раза в месяц.

Лейтенант никогда "не качал права" и не показывал свою власть рядовым, педантично следовал уставу и поступал по закону. Единственное нарушение, какое он себе позволял, — спрыгивать на ходу с трамвайной подножки, когда вечером возвращался домой.

* * *

Николаевский трамвай тех времён стоит того, чтобы отвлечься. Это было явление, которое в полной мере не смог бы перевоплотить ни один жанр. Трудно представить себе гремучую (не метафора) смесь трагедии, фарса, мелодрамы, лирики и эпоса... Все роды и виды искусства, все жанрово-стилистические системы вступали здесь в отнюдь не противоестественные отношения, организуясь в квинтэссенцию жизни.

Трамвай был узкоколейный и при движении "дребездел" (так определил какофонию, издаваемую сцепкой из двух барakov на железных колёсах, местный острослов) всеми составляющими элементами. По обеим сторонам вагона тянулись длинные лавки, пассажиры сидели на них спинами к окнам.

К двум жердинам под потолком крепились ременные петли, уцепившись за которые раскачивались при езде стоячие пользователи городского транспорта. Амортизация у вагонов была жёсткая, поэтому проехавший с десяток остановок начинал чувствовать лёгкие симптомы болезни Паркинсона.

Двери в вагонах закрывались гипотетически, и значительная часть мужского населения, почувствовавшая себя взрослой и не опустившейся до демонстрации солидности, остановки игнорировала и совершала посадки и покидала трамвай на ходу.

Кондукторы — почему-то только женщины — подбирались особой породы. Казалось, что место на лавке у задней двери занимала тётя, документально доказавшая кадровику хотя бы отдалённое родство с Цербером или Медузой Горгоной. В их функции входило продавать билеты и дёргать за шнур механического звонка, подавая сигнал вожатому об отправлении (один раз) или об остановке (два раза). Последнее как бы ставило их над вожатыми, и они болезненно переживали, когда их псевдоизначительность не почиталась пассажирами.

В трамвае можно было узнать все новости политической, экономической, культурной, научно-технической и интим-



ной жизни планеты, страны, города, района и улицы. Превалировали экономика и уголовная хроника. Комментировалось понижение цен при Сталине и повышение при Хрущёве, с непостижимой скоростью расползались слухи об исчезновении спичек, соли, муки, мыла, круп, макарон etc. Они оспаривались и высмеивались оптимистами и почти всегда оправдывались жизнью. Сверхтонкие трамвайные политические обозреватели намекали на то, что в обкоме партии есть якобы отдел, в задачи которого входит распространение слухов. И если на складах, допустим, залежи круп, чей срок хранения истекает, то соответствующий слух провоцирует покупательскую активность.

Обсуждение уголовных происшествий соперничало в рейтинге новостей с экономикой. В трамвае можно было услышать, когда, где, кого ограбили, подрезали, изнасиловали и даже узнать кто — свои или залётные. Малочисленной милиции этот источник информации был недоступен, так как многих из них знали в лицо, и при появлении стражи порядка, пусть и одетого в цивильное, граждане переводили разговор в другое русло. Достоверность же информации, полученной от осведомителей была сродни результату игры в "испорченный телефон".

Реальная статистика об уровне преступности скрывалась от населения, официальные сообщения отличались сдержаным оптимизмом. Так власти создавали иллюзию своих неограниченных возможностей и верили в это прежде всего сами.

С некоторых пор в трамваях стали поговаривать о какой-то банде. Банда орудовала не в городе, а в области, и потому эти рассказы отличались отвлечённостью, как если бы речь шла о событиях не на другом, конечно, материке, а например, на Алтае, но тем не менее очередное преступление обсуждалось с лёгким душком уважения к людям, не побоявшимся противопоставить себя власти. Бандиты "бомбили" сельмаги в Баштанском, Вознесенском, Новоодесском районах, причём только в сёлах и никогда в райцентрах.

После пятого ограбления на областное милиционное начальство и сыскарей посыпались официальные выговоры

и неофициальные разносчики. Дело "взяла на контроль" республиканская прокуратура. Прислали в помощь спецов из Киева. В ЦК коммунистов Украины потребовали ежедневный отчёт о следственных мероприятиях. Боялись, как бы не доделали до Москвы. Суета объяснялась не дерзостью и жестокостью преступлений, а напротив — тем, что совершились они с прямо таки домашней деловитостью и спокойствием: пришли, взяли, ушли.

Тогда только-только управились с волной преступности, спровоцированной бериевской амнистией пятьдесят третьего года. Уголовники хлынули на бескрайние просторы державы, повергая в трепет обывателя и доводя до отчаяния внутренние органы. На предприятиях создавались бригады помощи милиции, "бригадмы", и специальные комсомольские отряды. Население их не уважало и побаивалось, потому как уголовный душок отравил и "комсомольцев", и наделённые неясной широты полномочиями они позволяли себе бесчинства, наглостью которых возмущались даже урки. Потребовалось почти два года, чтобы привести кривую преступности якобы к "норме", и вот на тебе.

И почему бы им не "бомбить" квартиры или граждан "брать на гол-стоп"? Тогда бы это шло по графе "личного имущества" и тянуло бы годков на шесть максимум. А так — покушение на государственную собственность, вызов власти и статья подрасстрельная.

Обескураживало оперативников и следователей то, что преступников никто не видел. То есть так, чтобы описать внешность. Все сельские магазины находились под наружной охраной. Но это звучит внушительно. На самом деле, сидел не внутри, чтобы соблазна не было, а в будке рядом с магазином не вполне дряхлый дедок с винтовкой системы Бердана, плохо понимавший, позоляет ему инструкция в случае чего стрелять или нет, и дремал. Он вроде бы и слышал отдалённый звук двигателя, а через некоторое время терял сознание от удара и приходил в себя связанный, с кляпом во рту и в таком позорном положении ожидал, когда его кто-нибудь вызовёт. Ни одного выстрела, ни одного трупа. "Пинкertonы" были почти уверены, что хотя бы один

из преступников бывший фронтовой разведчик. Но пойди найди того разведчика в море фронтовиков.

Кроме этого два обстоятельства заставляли искать бандитов в городе. Прежде всего, у них была грузовая машина, которой они могли почти бесконтрольно пользоваться, что возможно для работника какой-нибудь городской автобазы. Во-вторых, вероятнее всего в облтогре у них был наездник, так как "брали" они магазины в ночь после завоза товара. И наконец реализовать такое количество награбленных пром- и продтоваров можно было через торговую сеть, ателье мод, столовые и рестораны. Непонятно было, почему не убивали.

Специальным распоряжением в магазинах в день, когда завозился товар, удваивали охрану. Но когда бандиты за неделю "взяли" еще два магазина, менты запаниковали.

Вот тогда-то Розумец оправдал свою фамилию и коренным образом изменил свою жизнь.

* * *

Уже далеко за десять вечера участковый соскочил с подножки трамвая, сбившего ход перед поворотом. Два фонаря-сиротки ничего не могли противопоставить полной луне. Несколько дней не было ветра, пыль осела, и в тишине недавно народившейся ночи луна светила необыкновенно ярко. Ах, эти июньско-июльские николаевские ночи. За них можно простить все: и мерзкую зиму, и пылевую поземку весной, и внесезонное жлобство... Неподвижные листья акаций просеивали лунный свет, дробили его на лучики, а сами деревья казались вырезанными из плотной бумаги, как театральная декорация. Луна делала мир плоским.

Не склонный к романтизму, лиризму и прочим глупостям Розумец обалдел от ночи и вместо того, чтобы пройти квартал до дома, достал из пачки с суровым синим пейзажем папиросу "Север", сел в тени на бордюр и закурил. Никаких особых мыслей не бродило в голове лейтенанта. Он подумал только о том, что ночка для жуликов неудачная, и хмыкнул. Оценил таки. Сделав последнюю затяжку, Розумец выбрался из очарования и хотел было двинуться к борщу с жареными

бычками и всегда таинственно-манящему телу жены, но услышал лязг клямки и легкий скрип открывшейся калитки.

Из двора вышли двое. Первого лейтенант узнал сразу — это был Сергей, побивший Осипа. Второй был незнакомым. Оба по фронтовой привычке курили в кулак. Разговаривали тихо, но по отдельным словам Розумец догадался, что речь шла о машинах. Он знал, что Сергей шоферил на фронте и сейчас работал водителем на судостроительном заводе. И жена говорила лейтенанту, и сам он несколько раз был свидетелем, как Сергей подгонял к воротам пятьдесят первый газон и выгружал из него мешок-другой картошки ли, муки, иногда арбузы. Словом, пользовался государственным транспортным средством в личных целях, а это по закону предполагало ответственность и требовало от участкового конкретных действий. Но Розумец “не замечал” таких нарушений закона. Он даже ловил себя на легкой зависти, что не имеет левого заработка, а ему, как и Сергею, нужно содержать жену и сына.

Собеседники попрощались. Сергей зашел во двор, второй пошел в сторону завода. Участковый так и не разглядел его.

В воскресенье утром Розумец столкнулся с Сергеем у водоразборной колонки. Равнодушно поздоровались.

— Разговор есть, — сказал участковый.

— На сколько лет? — попробовал пошутить Сергей.

— Суд решит, — подыграл Розумец.

Намеренно вяло участковый стал выговаривать Сергею по поводу драки.

— Ладно, лейтенант, сам знаешь, как бывает, когда свои наркомовские примешь, а потом — за товарища. Никогда не доводилось?

Розумец неопределенно пожал плечами. Он не любил фронтовые темы не столько потому, что не хотел ещё раз даже в воспоминаниях переживать ужас войны, а больше по недостатку опыта.

— Едет с утра старшина роты, — продолжал сосед, — это на Калининском фронте было — во второй эшелон за пайком: хлебом там, водкой, сам знаешь, и берет на двести че-

ловек по списочному составу, приезжает к обеду, а в роте уже — шестьдесят... почти по бутылке на брата.

— Так вы что там в драбодан пьяные воевали?

— Зачем же? Старшина водку каждый день привозил, а хлеб — через день или реже. Нейтральная полоса тогда все-го-то пятьдесят-шестьдесят метров была — хороший мужик гранату до ихнего окопа дабрасывал. Немец в семь вечера войну заканчивал и садился ужинать. Но у них другая беда была: хлеб и горячее каждый день, а со шнапсом — заминка. Вот и наладились наши с ними обменивать спирт на хлеб и консервы.

— Брешешь!

— Чего мне брехать? Недели три так было, пока смершевцы не расстреляли двоих. А потом уже приказ был — нейтральную делать метров двести.

— С кем это ты вчера поздно вечером у ворот стоял?

Сергей напрягся.

— А ты откуда знаешь?

— Служба такая. Так кто это был?

Сергей вдруг заартачился:

— А тебе какое дело, лейтенант? Надо было не сидеть в секрете, а подойти и спросить документы. Мы что, ограбили кого?

— Да ладно, Серега. Ты чего взбесился? Я же не по службе, а просто так спросил. Всех вроде знаю, а тут человек незнакомый. Я с трамвая спрыгнул и присел на бордюр покурить, а тут вы вышли.

— Да, ночка вчера была... У нас в такие ночи соловьи спать не дают. А здесь — тихо... Федор это был, брат Ивана.

— Какого Ивана?

— Приходьки.

— У него разве брат есть?

— Двоюродный.

— Никогда не знал.

— Он редко бывает. Иногда заезжает. И все, гад, ночью. Часа в два-три. Станет под воротами и мотор не глушит. Дыр-дыр, дыр-дыр — прямо под окном. Я ему сказал, а он на зажигание жалуется, бобину просил.

— Где же он работает, что ночью на машине разъезжает?

— О, опять в тебе, Лёня, лягавый проснулся. На грузовом такси работает.

— Ну и как?

— Что — и как?

— Как ему работа?

— По мне — так не очень. Когда у тебя один начальник, ты знаешь все его бзыки. А тут — любой фраер тебя нанял и командует.

— Ну правильно. Это же такси.

— Ха, на такси тебе деньги наличные платят и часто больше, чем по счетчику. А там заказывают машину в конторе, платит клиент в кассу, говорит, когда и куда везти его бебиши, и все. Деньги только в аванс и расплату.

— Да ладно, Серега. Кто же не понимает — любой клиент на бутылку всегда даст. Только я не пойму, чего он ночью приезжает.

— Вот у него и спроси. Ладно, я пойду — жинка ждет. Будь здоров.

— Будь здоров.

Розумец подумал, что не спросил фамилии Федора, "наточил" воды и понес ведра к дому. Он шел осторожно, чтобы вода не плескала на сверкающие хромовые сапоги и синие галифе и даже преувеличенно поигрывал мышцами обнаженного торса. Он представлял себе себя со стороны — вот идет крепкий и еще молодой страж закона и порядка. На такого может положиться любой честный гражданин.

Обряд самосозерцания прервал женский вопль. Розумец не сразу понял, где кричали, и остановился. Следом за тем, потом босых ног истерично взвизгнула калитка, и на улицу выскочила Нинка Петухова в ситцевом халатике. Розумец механически отметил, что под халатиком у нее, наверное, ничего нет. Безумно вращая глазами, она бросилась к милиционеру и заорала:

— Кара... — туйте!

Следом за ней выскочил гражданин в сатиновых черных трусах до колен с топорищем в руке и рванулся к Нинке. Та заскочила за лейтенанта, и он оказался в центре конф-

ликта, отягощенный ведром с водой в правой руке — одно он успел поставить на землю — и Нинкой, которая вцепилась в его левый локоть. Глаза гражданина ничего хорошего не предвещали. Думать было некогда. Розумец тряхнул рукой, освобождаясь от Нинки, и окатил агрессора водой. Все ведро пришлось на широкую волосатую грудь, вода скатилась вниз, и трусы прилипли к телу, обнаруживая половую принадлежность гражданина. Прежде казавшаяся пустынной улице рассыпалась женским смехом. Залилась и Нинка. Ярость в глазах гражданина сменилась растерянностью.

— О, закатилась в жопу ягодка, — сказал он и презрительно сплюнул. — Ну, сучка, подожди. Ты еще поплачешь! — И, едва заметно прихрамывая, пошел к калитке.

— Товарищ лейтенант, вы слышали, он мне угрожает.

— Сами разберетесь, — буркнул Розумец и повернулся с пустым ведром к колонке.

Дома участковый получил исчерпывающую информацию. Жена его, Дина, была из тех баб, что зла не помнят, оправдывают поговорку "язык без костей", но не злословят. Она никогда не верила сплетням, но все принимала к сведению и обладала эпической памятью.

Она рассказала мужу, что про Нинку говорят, будто она была немецкой подстилкой, только вряд ли; что перед войной она вышла замуж и родила дочку, но та умерла зимой сорок второго, когда стояли такие лютые морозы, что немцам пришел эшелон с тулузами, валенками и шапками, и они их сложили на обувной фабрике на Херсонской и Советской, а наши подожгли; чтобы не подохнуть с голоду, Нинка пошла работать в прачечную — да там много наших баб стирало немецкие подштанники; что в сорок четвертом она получила последнее письмо от мужа, уже из Польши, с фотографией, он там капитаном, а через два месяца прислали ей, будто пропал без вести; что ждала мужа два года, потом замуж вышла, но у этого открылись старые раны, и он умер после Сталина через полгода; а с мужиком этим, Федором, она сошлась недавно, зимой, их баба Киля познакомила; что Федор этот оказался двоюродным братом Ивана Приходьки, ездит на такси грузовом, воевал, был ранен, вроде малопьющий, но ревни-

вый — жуть. Фамилия? Наверное, такая же, как у Ивана, — Приходько. Откуда мне знать, где он воевал, вы ж ничего не рассказываете, а документов его я не видела.

Розумец задумался. Вроде бы ничего подозрительного. То есть подозрительное, оно, конечно, всегда есть, но как правило, почти всегда оказывается бытовым пустяком. Тем не менее лейтенант решил понаблюдать.

Дина забеспокоилась — муж стал приходить в два-три часа ночи, наскоро ел холодное и валился спать, не проявляя обычного интереса к всегда отзывчивому и требовательному телу жены, вставал в семь, делал лёгкую зарядку и, перехватив завтрак, исчезал на весь день. Они почти не говорили.

Дине нужно отдать должное: чувствовала она, как счётчик Гейгера. При переизбытке вдов и незамужних девиц, она как-то догадывалась, что женщина здесь не замешана и сцен ревности не устраивала. А сцены такие не были редкостью. Более того, было даже какое-то особое молодечество или, скорее, ухарство в том, чтобы "поучить" жену на людях. Так во всяком случае казалось участковому. Пытаясь понять природу этого местного явления, Розумец однажды спросил у Вовки-цыгана, не мот он, что ли, с женой разобраться дома, зачем он её за волосы во двор вытащил? Ответ был в высшей степени замечательный: мол, пойми, лейтенант, как же это можно дома, там же места нету: так развернёшься — радиолу зацепишь, эдак — шкаф с посудой, сюда — аквариум, там — зеркало. Площадя-то какие? У тебя что ли не так?

У него было не так не в смысле площадей. И тогда он подумал, что при всей своей болтливости Дина была неглупой и доброй женой, и даже слегка загордился.

* * *

Как-то в воскресенье Розумец с женой и сыном пошли "в город". Это значит — на Советскую. Для жителей одноэтажного Николаева, где почти каждый хозяин не мог жить без палисадничка, а особенно тосковавшие по хозяйству корабельы умудрялись выкармливать в сарайчике поросёнка, центральная улица с многоэтажными домами и неведомыми жителям пролетарских районов коммунальными удобства-

ми была "городом". Их путь лежал через давно опустевший рынок с кучами мусора и редкими отдыхающими в густых винных парах после "трудового" дня инвалидами.

Поход начался удачно: сынишка нашёл десятирублёвую банкноту (до денежной реформы 1961 года, проведенной по просьбе трудящихся и значительно облегчившей кошельки этих самых трудящихся, денежные банкноты были большими и морально выигрывали в сравнении с новыми деньгами ненамного превосходящими пластиковую карточку). Лёгким ветерком её прижало к куче мусора, и она как бы вздыхала при шевелении горячего воздуха. Отец похвалил сына за наблюдательность и сказал, что тот может сам потратить деньги, на что захочет. Когда они уже вышли на Советскую, — выбор наследника смущил участкового. Розумец младший остановился у лотка с книгами и показал пальцем на толстую книжку в дешёвом картонном переплётё серого цвета с картинкой посередине. Папаша взял книгу и прочитал сверху: "В. Каверин", а ниже: "Два капитана". Он перевернул книгу, на задней стороне обложки увидел цену — 12 р. 50 к. и добавил сыну два с полтиной.

Мальчишку привлекло название. Смутное влечение в иные края уже коснулось его целомудренной души, и капитанов в названии он воспринял как морских. Отчасти это оказалось верным. Роман Каверина пользовался популярностью у детей среднего возраста. Здесь была тайна, сложно переплетавшаяся с любовью, подлостью, благородством, великодушием, низостью, завистью, мстительностью, верностью и честностью, коварством и преданностью — весь спектр и оттенки качеств, присущих человеку, находили в романе своих носителей. Мальчишки сопереживали Саньке и Кате, ненавидели Ромашку. При этом плохие и плохое прямо или косвенно соотносилось с той Россией, которую нужно было охаять и забыть. За полгода книжка погуляла по всему двору, и так её в конце концов зачитали.

Прогулка с семьей продолжалась до глубокого вечера — Розумцы вдруг решили пойти в кино. Домой вернулись поздно. Сынишка попросил есть, и Дина дала ему бутерброд с са-

лом. Парня мучили кошмары, а часа в два ночи его стошило. Все проснулись, и пока жена промывала сыну желудок, Розумец вышел во двор покурить. По улице рядом проехала машина. "Грузовик", — отметил участковый, вышел на улицу и увидел в полусотне метров повернувший налево "газон" с будкой вместо кузова. Машины видно не было, но звук работающего двигателя не отдался. Слышно было, как водитель, маневрируя, переключал передачи, характерно подгазовывая, сдавая назад. Двигатель заглох. Теперь лейтенант слышал свое сердце. Что там ему ретивое подсказывало не знаем, но только участковый в майке, галифе и комнатных тапочках на босу ногу, отодвинув доску в заборе, просочился на развалку. Сюда выходили зады двора, где жили..., словом, того самого, что был упомянут в начале нашей честной повести. Оконце хатынки, где жили Приходьки, слабо светилось — плотная занавеска пропускала свет. Участковому нужно было или пройти между забором и котлованом, но там было очень узко и заросло бурьяном, или спускаться в котлован, на что он в темноте не решился и пошел вдоль стены своего двора, чтобы обойти котлован. Белая майка демаскировала, но азарт толкал вперед.

К полуразрушенной стене, через которую пацаны лазили на развалку, Розумец подкрался вовремя. За нею в трех метрах был сарайчик. Жена Ивана сделала из него курятник. Розумец слышал шаги, поскрипывала дверь курятника. Тихий мужской голос: "Давай сюдой." Женский: "Зачекай, не тягни." Снова мужской: "Та нехай ему... Кидай тута, завтра разберемся." Что-то мягкое и тяжелое упало, послышалась какая-то возня, заскрипела дверь, шаги удалались. Розумец постоял несколько минут и пошел вдоль стенки Приходько к самому удобному выходу — к, так сказать, легальной дырке в заборе, которой пользовались все те, кто не рисковал тревожить ("Ходить тут и ходить, обойти можно.") жильцов двора.

По звуку Розумец понял, что машина уехала, пока он сидел в засаде, куда-то в сторону завода. Он долго не мог уснуть, складывал что-то с чем-то, хмыкал, тревожил жену и наконец уснул, приняв решение.

А решение участковый уполномоченный принял простое, но идеологически в высшей степени правильное. Тут

важно понимать, что было две идеологии. Одна — публичная и демагогическая — для массы рабочих и крестьян. Другая — прикровенная и практическая — для тех, кто понимал, что в стране социальной справедливости выгоднее всего быть ближе к власти или самой властью — кормиться и легче, и сытнее. Решение, какое принял Розумец, было вредное, даже вредительское, неверное решение, но единственно правильное — он исходил из интересов карьеры и, следовательно, семьи. Понимая, чем ему это может грозить, Розумец решил никому ничего не докладывать, но понаблюдать.

* * *

На следующий день участковый вызвал Нинку Петухову повесткой в свой кабинетик. Она пришла на полчаса раньше, но Розумец выдерживал ее в коридорчике до назначенного времени.

Нинка заметно волновалась.

— Петухова Нина Васильевна, девичья фамилия Дрыга, 1923 года рождения, родилась в Николаеве, социальное происхождение — рабочая, украинка, с сентября 1941 по март 1944 года находилась на оккупированной территории. Нинка всё время кивала, как бы подтверждая каждый пункт, а последнее замечание возмутило ее:

— Та сколько ж можно? Каждый раз в глаза и тычут, и тычут. Ну, была. Ну и что? Одна я что ли?

— Гражданка Петухова, вы мне тут не нукайте, а отвечайте на вопросы.

— Так вопросов же нет, — от возмущения и робости Нинка обнаглела.

Вообще-то Розумец, в отличие от других служивых, отягощенных властью, никогда не прибегал к этому приему. Суть его заключалась в том, что любой чиновник, в погонах или без, ну просто не мог не продемонстрировать свою власть какому бы то ни было гражданину, такой властью не отягощенному. Делалось это очень легко — так или иначе гражданин должен был почувствовать себя виноватым. Чувство вины перед советской властью культивировалось

в советских людях с первых дней этой самой власти. Виной было социальное и этническое происхождение, социальный статус, в зависимости от изменчивой "линии партии" участие или неучастие в чем-либо раньше, судимость и даже пребывание под следствием, контакт с иностранцем, плен, оккупация и прочая и прочая — словом, никто не был гарантирован от обвинения в неблагонадежности или того хуже — в неблагонамеренности. Конечно, слова употреблялись другие: "враг народа", "космополит", "диссидент", "идейно неустойчив" и т. п. Политическая история Европы от античности до наших дней предлагала широкий выбор ярлыков для шельмования.

— Нина Васильевна, вот вам уже четвертый десяток идет, а почему вас все Нинкой называют?

— Так характер у меня такой, Леонид Григорч.

— Какой — такой?

— Легкий, наверное.

— Ты скажи — легкомысленный.

— Ага. Вы еще, как те бабки, скажите — блядский.

— Так не скажу, а их понимаю. Ты ж голая по улице бегаешь.

Нинка уставилась на участкового и как-то сомнительно заулыбалась:

— Это ког..., кто это такое?..

— Ладно, успокойся. Ты чего заявление не приносишь?

— Какое заявление?

— Ну, как какое? Ты же стала жертвой нападения. Тебе угрожали, я сам свидетелем был.

Нинка расхохоталась.

— Ой, гражданин начальник, какое заявление, уже все всё забыли. Милые бранятся — только тешатся.

— Не знаю, кто чего и какой милый забыл, а был факт хулиганства, есть свидетели. Значит, я должен меры принять.

— Какие меры, какие меры? Леонид Григорч, не надо никаких мер. Мы уже сами всё уладили.

— Уладили. А если бы меня на улице не было, он бы тебе как раз в лоб топорищем угадал. Как бы тогда улаживали?

— Если бы. Если бы да кабы...

— А кто это вообще был?

— Кто, кто. А то вы не знаете?

— Первый раз видел.

— Федор, жених мой.

— Жених или сожитель?

— А как хотите, так и понимайте.

— Ну, допустим, жених. А чего же он на тебя кидался?

— Ревнивый он очень.

— Значит, повод даешь.

— Да вы что, Леонид Григорч! Какие поводы? Ревнивый и без повода ревнует. У них, раз была замужем, значит — гулящая. А таких баб, вроде меня, награждать надо. И звание давать — дважды вдова Советского Союза.

— Ладно, дважды вдова, давай, рассказывай, кто он твой жених.

— А чего про него рассказывать. Мужик, как мужик.

— Я у тебя не спрашиваю, какой он мужик. Фамилия, где работает. Всё, что про него знаешь.

— А я много и не знаю. Фамилия Приходько, звать Федор. Он брат Ивана Приходьки из четвертого номера. Работает на грузовом такси, — Нинка замолчала.

— Ну, чего молчишь? Давай дальше.

— Так всё. Я больше ничего и не знаю.

— Воевал? Не воевал? Ну?

— А то не воевал. Конечно, воевал. Теперь все воевали — и кто был на фронте, и кто не был. Но он даже раненый был, шрамы есть.

— Шрам и от аппендицита может быть. Сколько ты с ним встречаешься?

— Третий месяц.

— А как человек, он как?

— Ничего вроде, добрый. Подарки делает. Работа у него хорошая и заработка тоже.

— Сколько же он получает?

— Он не говорил, я не спрашивала.

— Я не пойму, Нина Васильевна, он сожитель или жених? Вы вместе живете или встречаетесь?

— А на что вы всё это спрашиваете, Леонид Григорч? Он что — зарезал кого?

— Да тебя чуть не убил, дура. Ты глаза его видела?

— Видела. Не убил бы. Он говорит — без меня жить не может, любит, всё время обо мне думает. Того и ревнует.

— А чего ж не женится? Жили б как люди.

— Ага, а жить где? Он с бабкой ютится во времянке, и у меня — одно название — “комната”. Подожди, говорит, подзаработкаю, и домик купим. Он домик присмотрел на Военных где-то.

— И прописка у него есть?

— Конечно, там у бабки, на Пролетарской и прописан.

— Не пойму я вас, баб. Совсем человека не знает, а замуж собирается.

— Ой-ой! Ты на свою Дину посмотри. Много она про тебя знала, когда замуж выходила.

Крыть было нечем. Розумец еще раз спросил, будет ли она подавать заявление, и после категорического отказа Нинку отпустил.

Бдительность лейтенанта была вроде бы оправдана. Время тогда стояло, так сказать, мутное. Оно именно стояло. Дни шли, но ничего не менялось. Два года прошло, как умер Сталин и расстреляли Бериу, а страна напоминала переполненный зал ожидания вокзала. При этом публика не знала, когда придет поезд и где тот перёд, куда наш паровоз полетит, или, может, он давно уехал, или его вовсе не было? Нельзя осуждать наших отцов. Волна послепобедного национального подъема была жестоко погашена голодом и новыми массовыми репрессиями. Несколько миллионов русских мужиков побывали за границей и увидели, как живут они. Победители возвращались домой с жаждой наладить красивую жизнь у себя. Дурь эту нужно было вышибить. И вышибли. Все притаились, даже партийные. Говорили шепотом, с оглядкой и двусмысленно, чтобы в случае чего можно было повернуть и так и эдак. Однако одно массовое чувство было — подостывшая ненависть к полицаям, пособникам, в общем,

предателям. Органы разыскивали притаившихся, которых не повесили сразу в 44-м, и их показательно судили.

Полтора десятка лет спустя группа юношей и девушек отыхала на тогда еще пристойном пляже в Родниках. Они попивали популярное в те годы "Біле міцне", болтали ни о чем, двусмысленно пошучивали, но без сальностей и обратили внимание на мужичка лет пятидесяти. Он был то ли сторожем в дачном кооперативе, то ли спасателем на пляже, словом, какую-то работу работал. А молодые люди были не простые — они так думали, — с претензией на интеллигентность, с цитатами на любой случай, уверенные, как любая молодость, в своей силе, красоте и удаче, однако без гадости — славные ребята. Трое парней решили развлечься, то есть им нужен был кто-то по контрасту, чтобы дамы смогли по достоинству оценить их достоинства. Они предложили мужичку винца, и тот подсел к их "столу" на лужайке. Хлопцы, слегка ироничные, стали вытягивать его на разговор — воевал, мол, небось, ну и как там было. А мужичка, неожиданно для них, от стакана вина повело и стал он такой резкий, руками размахался. Я, говорит, был в команде возмездия. Мы в 44-м изменников Родины вешали. Как это, спросили. Он вскочил, еще полстакана вина хватанул. Я — уже почти на крик перешел — этого нипочем не забуду. Дети каждую ночь снятся. Какие дети? А такие! У меня список и два автомата. Идем по селу, Себино там или Новая Одесса, подходим до хаты, где тут спрашиваю, изменник Родины Иванов, Петров, Гапоненко, выходи, полицай-гнида, мы тебя вешать пришли, вот приговор трибунала именем всего Советского Союза. Выходи, кричу, с тубареткой. И выходит с тубареткой. Только не здесь, говорит, жинку и детей пожалейте. А ты, кричу, наших жалел? Тут и жинка, и дети. Жинка — в крик. Диты, кричит, просите дядьку, нехай помилует. Дети падают, кирзу мою целуют, плачут: "Дядьку, родненький, не робить цього". А я свое дело делаю — если над воротами якась перекладина есть, то через нее веревку кидаю, а нет — так до дерева веду. А сам же понимаю, какой он там полицай, два года повязку на руке проносил да паек получал, да крал потихоньку, чтоб семью прокормить, и вполне мог нигде не участвовать. Кто участвовал, с немцами

подались. Но если я слабину дам, те же автоматчики, у их приказ, меня за сарай отведут и — капец. Потому я петлю вяжу, помогаю ему на тубаретку залезть и как дам — тут он сделал пинательное движение ногой — и приговор исполнен.

— И сколько же вы повесили?

— Семнадцать. И все многодетные. Потом они сниться стали. А потом уже и в натуре: иду куда-нибудь, а они за мной — целый детский сад, или в уголку комнаты стоят и плачут, и плачут. Так и попал я к Задурьяну. Теперь инвалид третьей группы, тридцать два рубля пенсия — по полтине за каждого детеныша, — и он пошел прочь, держась за голову. Потом повернулся и добавил: "А пить мне совсем нельзя".

Всякие были: и недовешанные, и недорасстрелянные. А то еще поговаривали, что шпионов много немцы оставили, и они теперь на американскую разведку работают — наши кораблестроительные секреты выведывают и за океан продают. Мы еще сами не успели докумекать, что это такое мы строим, а "голоса" уже передают, мол, в Николаеве заложили новый крейсер. Был, например, один такой, косил под дурачка. Фигура замечательная. Он был высок, широк, сухощав и длиннорук. Череп, вроде бы нормальный, при внимательном взгляде поражал диспропорциями: высокий и широкий открытый лоб интеллектуала и тяжелая, выдвинутая вперед, неандертальская нижняя челюсть, большие уши плотно прижаты к голове и при этом невероятно длинные поросшие волосами мочки; глаза глубокие серые, маленькие, но взгляд настороженный и острый. Постоянная улыбка, скорее, оскал и желтые большие зубы.

Ходил он круглый год в коротких штанах, едва прикрывавших икроножные мышцы, и они еще внизу бахромились, и в галошах на босу ногу, а то, что было сверху, вроде рубахи, и названия не имеет. Была у него одна особенность — носил он с собой палочку толщиной так сантиметра в полтора, вроде тросточки, но это была самая обыкновенная палка и, как потом оказалось, очень прочная. Он не опирался на нее, а клал за спину и прихватывал локтями, наподобие засова. Короче говоря, дебил. Он всё время тёрся недалеко от завода, у мага-

зина на Переулке А, у пивных, скалился, чего-то выпрашивал. Как-то один из компаний молодых корабелов решил над ним не совсем безобидно подшутить и, видимо, задел убогого. Тот обиделся и огрызнулся, но не уходил. Корабел, чтобы избавиться от назойливого дурачка, попытался его толкнуть и дать под зад пинка, но не получилось: и руки, и нога провалились в воздух. Корабел оскорбился и дал затрещину, но оказался на земле. Он вскочил и ринулся в бой по-настоящему и опять оказался на земле и к тому же ударенный. Подвыпившие кореша подтянулись, видят — наших бьют и, натурально, в драку. Вот тут и выяснилось, зачем дураку палочка. Очень профессионально он ею помахал — Брюс Ли и Шаолинь отдохивают. Хотя смоленские и псковские хлопцы тоже большие мастера в этом виде спорта. Одно слово — школа. Так вот, дебильный этот оказался якобы настоящим шпионом. Он будто бы школу Абвера закончил и был диверсантом, а после войны его каким-то образом нашли и стал он собирать секретную информацию для ихнего ЦРУ.

Так что бдительность участкового была не лишней. Бог знает как, а продвижение по службе нужно было заслужить.

* * *

Лейтенант подолгу не ложился спать, выходил из дома покурить — всё прислушивался, но движения никакого не было. Вернее, было, но не то. Пару раз Федор приезжал около полуночи, но ничего не выгружали, — заскочил на минутку и уехал.

Так, без видимых перемен ушло лето и наступил сентябрь.

Розумец-младший учился в той же школе, что и остальные пацаны, но развалка для него была под запретом. Ущемленность досаждала, его поддразнивали и, когда однажды его позвали играть в футбол — был некомплект, законопослушный сын участкового стал в ворота. Спустя два часа его извлекла с развалки мать, когда все уже одурели от беготни и при ничейном счете спорили, была рука или нет, и кому бить "пеналь". Розумец-младший нехотя шел домой, предвкушая расплату за ренегатское поведение, и мать несильно

подталкивала его костяшками пальцев между лопатками, приговаривая: "Щас отец с тобой разберется!" Раsterзанный вид сына сулил малорадостную и самое пугающее — неизвестную перспективу. Встреча близких родственников напоминала картину известного русского художника, где Петр I допрашивает царевича Алексея, однако крашенный темно-красным пол в квартире Розумцов совсем не походил на черно-белое шахматное поле, и исход противостояния был предрешен.

— Вот, — Дина подтолкнула сына на середину комнаты, и, как говорится, пауза повисла. В течение долгих двух минут малый всё ниже опускал голову, как будто с каждой секундой тяжесть вины возрастала.

— Что — вот?

— Как, что? Ты полюбуйся, на кого он похож. С босяками на развалке в футбол гоняли.

— Не с босяками, — воспрянул сын от несправедливости.

— А какая разница. Тебе сколько раз говорили — на развалку ни ногой.

И тут Дина испытала потрясение.

— Да ладно тебе. Ну играл парень в футбол. Не всю жизнь ему за твою юбку держаться.

— Лёня, что ты говоришь? Ты же сам...

— Да, сам, но когда то было? Так, сынок, будут в футбол звать, ничего плохого тут нет. Только переоденься. Но если карты или еще что-нибудь — уходи.

На следующий день Розумец купил мяч. Через короткое время сын участкового стал на развалке своим. Он оказался ловким малым, не боялся мяча и лучше всех стоял в воротах. А когда его пригласили на день рождения к Юрке Фомину, он загордился признанием. В ту баснословную эпоху, которую чаще называли великой, дни рождения праздновали не так, как принято теперь. Мать виновника торжества варила компот и пекла пирог и нарывала для детей сладкий стол. Все приглашенные не только приносили, но и получали подарки. Маманя Юрки учудила, купив на всех автоматы ППШ. Это были натуральные автоматы. Видимо, какой-то предпримчивый армейский начальник решил заработать, и списанные

автоматы ППШ переделали на игрушку: оставили приклад, а ствол, затвор и диск заменили деревянными, спусковой же крючок соединялся с примитивной трещоткой. Пацаны были счастливы, хотя прикладом можно было покалечить. Сладкий стол остался почти нетронутым. Пацаны быстро разделились на "наших" и "немцев" и началась "война".

Уже темнело, когда Розумец-младший пришел едва живой домой и с гордостью поставил автомат в угол. Отец покрутил автомат в руках, хмыкнул и стал расспрашивать, как прошел день рождения. Сынок рассказал такое, что автоматы действительно оказались детской игрушкой. Среди прочего он поведал, как Ванька Приходько, сын Ивана, который был младше всех лет на пять, и за то его не брали в игры, обиделся, побежал домой и выскочил оттуда с криком: "Всех убью!" Его с разных сторон обстреляли из автоматов и только потом обратили внимание, что он отстреливался — "Кх! Кх!" — из маленького пистолета, но настоящего. Пистолет был без обоймы, накладок на рукояти и еще чего-то, самого главного, однако впечатлял. У Ваньки просили его подержать, Ванька важничал, но давал, а потом вышел глухой Иван, его батька, молча забрал пистолет и ушел домой.

Воспитательные меры участкового стали приносить любопытные результаты.

Терпения у двора хватило на три дня — уж очень автоматы и стрельба напоминали недавнюю настоящую войну, с одной стороны, с другой, — пацаны невыносимо орали, а с третьей, — Только Фиксатому так дали прикладом по затылку, что пришлось вызывать "скорую". Произошло это в шестом часу, когда тысячи корабелов угрюмо шли со смены. Фиксатый не хотел сдаваться, "наши" наступали, а он драпал к воротам, но калитка открывалась на себя, и это решило исход боя — он успел открыть калитку и получил прикладом по голове. Удар, к счастью, пришелся по касательной, но ссадина оказалась приличная. Фиксатый упал навзничь, обильно пачкая кровью уличную пыль. Крик нескольких голосов обратил "наших" в бегство, и корабелы бросились спа-

сать "немца". Среди них случилась фельдшерица из заводской санчасти, она и оказала первую помощь раненому.

Через полчаса Розумец обошел всех владельцев ППШ и изъял автоматическое оружие, между прочим интересуясь у родителей, может быть, они еще что-нибудь видели у своих чад, вроде штыков, гранат, запалов, взрывателей, финок и т. п. Но насчет взрывоопасных предметов родители и сами были бдительны, а вот штыки и финки в хозяйстве пригодятся.

Вечером Розумец-младший в своем углу как бы делал уроки, изо всех сил сдерживая рыдания, но редкие слезы всё же капали на, благо, пока еще чистый тетрадный лист. Бессердечный старший читал "Правду". Мать удлиняла подросшему сыну школьные брюки. Вполне идилический пейзаж, однако жена не напевала, отец не комментировал газету — напряжение грозило разрядом.

Выпускать пар начала Дина:

— Лёня, про что пишут?

— Всёднойто же, — думая о другом, бормотнул Розумец, встал, подошел к сыну и положил ему сзади руки на плечи. Малый еще ниже опустил голову и разрыдался. Розумец минут пятнадцать занудствовал про октябрят, пионеров, сознательность, о том, что такие игрушки в сумерках можно принять за настоящее оружие и напугать постороннего человека и что преступники могут воспользоваться этим, что он, конечно, понимает, но... Сын, наконец, успокоился и принялся за уроки всерьез.

— Бабы Кили сын вернулся, — Дина начала нормализовать обстановку. — Я дитём была, когда его забрали, а он только школу кончил. Нинку любил. И какой он там враг народа?

— Просто так не посадили бы.

— Он был спросил, на выпускном гуляли — это, значит, уже как бы можно — учителя истории, правда, что Троцкий революцией 1905 года командовал. И всё. Бабу Кию с работы выгнали, а она большой человек была — шеф-повар на фабрике-кухне. С тех пор она семечками и торгует. А Валя ее и был не толстый, а сейчас вообще, как кочерга, подходит к ней вчера с котомкой, а она сидит перед воротами и у себя

в сумке копошится. Он подошел, а она замерла и даже головы не поднимает, и заплакала. Не узнала — почувствовала. Это ж, подумать только, восемнадцать лет она его не видела. Смотри ты, выпустили. А от Тонькиного мужа никаких известий. Она и не знает, жив или помер давно. Слышишь, Лёня, а вообще у вас на службе говорят чего про врагов народа? Вот Берия оказался тоже враг. А Валентин, какой он враг?

— Врагами, Дин, комитет занимается, а мы бандитов и жуликов ловим.

— Это МГБ что ли?

— Их уже два года как переименовали в Комитет государственной безопасности.

— А жулики, стало быть, не враги. Они ж у трудяги копеку отнимают. Ты спроси любого, кому в карман залезли, враг ему этот ворюга или, может быть, друг.

— Они социальны близкие.

— Папа, — поднял голову младший, — а кто такой личность?

Вопрос был очень кстати.

— Почему ты спрашиваешь? — лейтенант брал тайм-аут для размышления.

— Нам на классном часе про Ленина рассказывали, и классная всё время говорила: "Личность Владимира Ильича, личность Владимира Ильича."

— Ну, это тот, кто за правду борется. Революционер. Честный человек.

Сын неуверенно как-то кивнул головой.

— Не понимаю, — раньше Дина себе этого никогда не позволяла, чтобы не подорвать авторитет отца, — а что же вы тогда устанавливаете?

— В каком смысле?

— Вы же говорите — "установить личность".

— То совсем другое, — Розумец почувствовал, что запутался, и вернулся к газете.

* * *

Через день к участковому в кабинет пришел сын бабы Кили Валентин Однокум. С визита к участковому начинался

процесс постановки на учет отбывшего наказание. Для лейтенанта было обычным делом ставить на учет "социально близких". Разговор с ними был короткий и, как правило, шутливо-нервный. Редкий из уголовников надолго задерживался на свободе. Оба хорошо понимали, как будет разматываться и куда приведет его клубок удачи. Уголовник понимал мента, мент — уголовника.

Валентин был вторым политическим, которого Розумецставил на учет. Чистая формальность. Главный учет — все равно в КГБ. Тот, первый, пришел к нему в апреле после десяти лет лагерей, и за пятнадцать минут, пока участковый оформлял бумаги, закашлял весь кабинет палочкой Коха. Это был совершенно тусклый тип с мертвыми глазами на тонкой шее и куриной грудью. Он торопливо и подобострастно отвечал сквозь кашель на вопросы и совершенно никаких чувств не вызывал. Даже жалости. Через месяц его похоронили. Валентин был чуть выше среднего роста и невероятно худ. Русые волосы едва начали отрастать. Держался он прямо, на вопросы отвечал просто, не заискивал перед "гражданином начальником" и отстраненно смотрел серыми глазами. Какой-то бес подмывал участкового поговорить с ним неофициально:

— Валентин Михайлович, вы в каких лагерях были?

В глазах Однокума промелькнуло удивление:

— В разных, но больше в Каргополе и Воркуте.

— А в Караганде?

— Бог миловал.

— С уголовными?

— С ними.

— И как вы находили общий язык?

— Мы и не находили.

— Как же вы ладили?

— Люди везде живут и по-разному выживают. Странный разговор, начальник. Если это допрос...

— Да нет, я вас не допрашиваю. Время сейчас непонятное. Кто врагов ловил, сам врагом оказался. И теперь получается, что враги, они и не враги как бы.

— Враг — всегда враг.
— Вам сколько дали тогда, до войны?
— Десять лет.
— Почему же вы в два почти раза больше отсидели?
— За такие вот разговоры добавили.
— За такие не добавят.
— Как знать.

— Да будет вам, Валентин Михайлович, я для себя спрашиваю. Сам понять не могу, о чём. То Ленин был — вождь. Потом Stalin — отец. Вроде бы всё понятно было — вот цель, вот — враг. Кто не с нами, тот против нас. А сейчас все, как в тумане.

— Ты, лейтенант, или провокатор или дурак, — Розумец вздрогнул. — Я же сейчас на Свердлова, 41 идти должен. Не боишься, что продам?

Участковый побледнел. Трудно выдохнул:

— Не боюсь. У тебя тут легкая пометочка есть, что ты не стукач, — Розумец врал — ничего такого в справке об освобождении не было. — А кроме того, я спрашивал о тебе у соседей, одноклассников...

— Хм, сколько воды утекло...

— Эх ты, сам дурак. Я тебя, как человека, спросил. С тобой разные люди сидели, и время было подумать...

— Про пайку, — Валентин усмехнулся. — И люди разные сидели, и время было.

— Скажи, как ты к Сталину относишься?

Валентин жестко посмотрел на участкового и, не отводя глаз, как плонул:

— Упырь.

— Я так и думал, — выдавил из себя Розумец. — Как же теперь жить дальше?

— Так и жить, — Валентин уже с интересом смотрел на участкового.

— Не понимаешь. У меня сын — десять лет. Он с рождения, то по радио, то в садике, а потом в школе слышал — Stalin, Stalin, Stalin. А теперь... Он же спросит: "Батя, а вы куда смотрели?"

— У тебя, видишь, сын. А у меня — спросить некому.

— Он мне недавно говорит — папа, а что такое личность, и я толково рассказать не сумел. Чувствую тут что-то такое — не такое, а объяснить не могу.

— Личность? — Однокум хмыкнул. — Личности нет нужды стоять в строю или в очереди, чтобы чувствовать себя человеком.

— Погоди, но мы же все так или иначе стоим в очередях? Так что, мы не личности?

— Вот-вот, я об этом и не об этом. Вам — не всем, конечно, всем не получилось, — но многим нужно где-нибудь обязательно состоять — в членах, в рядах. Иначе вы себя человеком не считаете. Исключили из партии — он возьми и застрелись. Из рядов отчислили — и жизнь кончена. А личность сам на себе жизнь свою строит. Ей не нужно видеть грудь четвертого человека. Она в глаза смотрит. Вот так, лейтенант.

Розумец неопределенно пожал плечами и отдал Валентину бумаги.

— Бывай, Однокум. Фамилия странная.

— Твоя не лучше.

* * *

Валентин очень быстро сошелся с Сергеем. Почти одногодки — оба приближались к тридцати пяти — они выглядели гораздо старше. На двоих у них осталось штук двадцать пять зубов — один оставил на фронте, у другого цинга отняла в лагерях. Тогда в одноэтажном Николаеве развлекались своеобразно — в каждой семье было несколько скамеечек, табуреточек, стульчиков, и соседи, каждый со своей мебелью, выходили за ворота на улицу, садились рядом, лузгали семечки, наблюдали редких прохожих и беседы беседовали. Сергей с Валентином садились подальше от всех, курили и о чем-то, присвистывая и пришепетывая запавшими ртами, подолгу рассказывали друг другу.

Как-то Сергей спросил:

— Ты участкового знаешь?

— Был один раз.

— И как он тебе?

— Потерянный какой-то.

— Мне показалось, он меня в сексоты агитирует. А с тобой как?

— На откровенность давил.

— Не пугал?

— Нет. А что? Серега, ты толком скажи.

— Понимаешь, он, уже месяца два прошло, поздно вечером крутился возле нашего двора, а потом спрашивал про Федьку Приходько.

— Ну и что?

— Они с Иваном что-то творили — всё по ночам Федька на своей будке приезжал, и они тяжелое таскали из машины. Но уже больше месяца тихо.

— А тебе какое дело?

— Ты про банду слышал?

— Про какую? Этих банд — пруд пруди.

— Я не про шпану или карманников. Банду, которая магазины ломит в области.

— Серега, оно тебе надо?

— Не в этом дело. Весь город гудит. Ты пойми, после того указа, как за госимущество стали вышку давать, а потом заменили на четвертак, жиганы за простых людей принялись. А им за это — три, ну пять лет, вторая ходка — до восьми. Так это ж еще поймать надо. Начальники, когда закон принимали, государственное подняли, а личное, моё, — опустили, и во всех газетах и по радио — государство у нас народное. Так если народное, то и должно быть одинаково. Эти хлопцы на государство как бы руку подняли. Ты посмотри, бабы, если кого подрезали или из кармана потянули, враз лягавым расскажут — и как выглядел, и как одет, и куда побежал. А тут...

— Постой! У нас под Ухтой был один законный. Старик — от него мышами уже воняло. Живая легенда. И Соньки-Золотой Ручки приятель, и даже с туристом Чеховым на Сахалине виделся. Так про него говорили, что он Камо помог тбилисский банк взять, а по правде — вроде бы он и взял, и Камо лавэ сдал. А после революции Камо его сам нашел и закрыл. И наверное, шлепнули бы старика, да толь-

ко Камо самого товарищи убрали, а про деда забыли. С тех пор он воли и не видел. Авторитет у него был огромный. Сам кум его боялся. Вот он мне как-то сказал, я, говорит, за всю жизнь копейки у простого человека не отобрал, а босоту эту, что на гоп-стоп берет или карманы чистит, презираю. За то меня и уважают.

— Валь, мне кажется, наш участковый в майора Пронина играет. Он, видать, решил, что это Приходьки магазины берут.

— Да ну...

— Сам посуди. Машина у них есть. По ночам ездят. Что-то привозят-вывозят.

— Ты тоже привозишь.

— Я что, прячусь от кого? А они тайком. Вот он, наверное, и подумал, что они та банда.

— Серега, у тебя что других забот нет?

— Может, Ваньке шепнуть.

— Не лезь ты в это дело.

Сергей внимательно посмотрел на товарища:

— Ты еще, это... на Нинку виды имеешь?

Валентин опустил голову:

— Ничего уже не будет...

Еще покурили и разошлись.

* * *

Розумец уже готовился сдавать дежурство, когда пришла телефонограмма, что в Михайло-Ларино ночью ограбили магазин по той же схеме. Он быстро сдал дежурство и помчался домой. Там переоделся в цивильное, вышел как бы по делам и пошел в сторону четвертого номера. Ночью был дождь, стояли лужи. Возле двора участковый увидел то, что ожидал — следы автомобильных шин. Чтобы не заходить во двор, он постучал в окно к Сергею. Лейтенант думал, что выгляднет жена Сергея, но тот вышел сам — был в отгуле.

— Привет, — Розумец едва справлялся с возбуждением.

— Здравия желаю, — Сергей был не в духе. — Надо чего?

— Ночью Федор приезжал? — участковый показал на следы.

Сергей пожал плечами:

— Я не слышал. Вчера лишку принял.

— Ты никуда не уходишь?

— Пока не собирался.

— Я тебя очень прошу. Постой тут пять минут, подожди меня и посмотри, может, кто к Ивану придет, а мне в одно место сбегать надо.

— Ты что, меня на службу записал? А если мне в одно место понадобится?

Из соседнего двора вышел Валентин. По одежде — он собрался в город. Поздоровались.

— Вот вы вдвоем меня и подождите.

— Мне в десять нужно быть в ЧК. Воспитательный день сегодня.

— Успеешь, я ненадолго.

Участковый рванул на проходную ликеро-водочного завода — там был телефон.

— Что случилось?

— Ночью твой соперник приезжал. Даже мотор заглушил. Они, как мышки, с полчаса шуршали-шуршали, сопели, а потом затихли. Мусорок наш, наверное, ловить их сейчас будет.

Прибежал Розумец.

— Значит так. Никуда не уходите. Ждем. Сейчас наряд приедет. Будете понятыми.

— Так мне ж...

— Начальник сказал, он позвонит в комитет, чтоб тебя на сегодня освободили, а потом повесткой вызовут.

Через двадцать минут приехал "воронок" — майор, капитан, три сержанта, два рядовых, один с собакой.

— Нам не страшен серый волк — нас у мамы целый полк, — пропел Сергей.

Розумец распорядился, и два рядовых, топая сапогами, побежали вокруг дома на развалку.

— Мудёр, — заметил Сергей.

— Перестань, чего ты их дразнишь.

Подождали минуту, пока рядовые перекроют выход на развалку. Розумец толкнул калитку, и майор первым ша-

том угодил в зловонный ручеек сточных вод. Перспективу двора перекрывали две веревки с разведенным бельем. Почти бегом, отбрасывая простыни, отчего заблажили сразу несколько женских голосов, исполнительная власть покрыла тридцать дворовых метров и остановилась у двери Ивана Приходьки. Когда не торопясь подошли Сергей с Валентином, Розумец без стука распахнул дверь, и менты с пистолетами наизготовку ввалились в мрак приходькиных appartamenti. Ставни были закрыты, и только слабый свет лампадки под иконой в правом углу освещал строгий лик святого. Под ним в кресле сидела бабка Веры, жены Ивана, и смотрела закрытыми бельмами глазами на вошедших. Троє метнулись в спаленку и взяли Ивана тепленьким со сна.

Начался обыск. Сергей и тем более Валентин впервые были в квартире Приходько и поразились убожеству обстановки и специальному запаху — так пахнет нищета. Полчаса обыска ничего не дали. Везде находили какие узлы с обрезками тканей. Вера объяснила, что это для бабушки, она ткала половики. Всё повытряхивали, но ничего криминального не было. Майор уже косо поглядывал на участкового, когда Розумец, откинув половики в спаленке, обнаружил люк под пола. Он спустился вниз с керосиновой лампой и крякнул.

— Что там, — спросил майор.

— Принимайте, — Розумец вытолкнул из подпола мешок с сахаром, потом второй, потом появился мешок с гречкой. Вполне могли быть мешки из магазина, но не факт. Но когда Розумец выбросил наверх штуку костюмной шерсти, затем еще одну, а потом две штуки ситцу, майор расслабился. Всё стало ясно.

— Где брат, — спросил участковый.

Ответила Вера:

— Не знаю. На работе, наверное.

— Что он привез ночью и откуда?

— Вот это и привез, а откуда, я не спрашивала.

— Иван с ним ездил?

Вера кивнула.

— Куда вы ездили?

— Он же не слышит.

Иван, отвернувшись, смотрел в стенку.

— А ну-ка, бабуля, давайте мы вас потревожим, — сказал сержант. Вдвоем они подняли старуху и пересадили на топчан. Она что-то прошамкала пустым ртом. И повторила разборчивей:

— Антихристы.

Сержант ощупал засаленную обивку кресла, взял кухонный нож со стола, разрезал обивку спинки и вытащил оттуда обернутый в тряпку смазанный пистолет ТТ.

Капитан писал протокол. Сержант запустил руку за икону — старуха зашипела — и извлек “парабеллум” и коробку патронов к нему.

— Воевать собирались что ли? — прокомментировал Сергей.

Больше в доме ничего не нашли.

— Где сарай? — спросил майор.

Розумец, майор, сержант и понятые пошли в сарай.

Здесь нашли два новых радиоприемника, шейную машинку “Веритас”, “вальтер”, наган, обрез, несколько штук пальтовых и костюмных тканей, ящик сливочного масла и копченый окорок. Поразительно, но из денег обнаружили только тридцать рублей под kleenкой кухонного стола. И те изъяли. Больше ничего не было.

Ивана с Верой загрузили с вещдоками в “воронок” и уехали. Через два часа арестовали Федора, когда он перевозил мебель заказчику. Соседи до вечера обсуждали происшествие. Всех интересовало, где деньги.

— Федор где-нибудь кубышку зарыл, — предположил Сергей.

Суд приговорил Ивана и Федора, кстати они оба были разведчиками на фронте, к двадцати пяти годам каждого, Верке дали десятку. Через четыре года она умерла в лагере от туберкулеза.

Розумец получил орден. Его повысили до замначальника райотдела по следствию и через три месяца присвоили капитана.

* * *

Прошло пять лет. На зоне братья были в авторитете — Иван стал хлеборезом, Федор — кладовщиком. А на воле происходили замечательные события. ХХ и XXII съезды потрясли страну. Хрущев со товарищи обвинили во всех смертных грехах и осудили своих подельников. Бывшие сталинцы прелицевали себя в большевиков-ленинцев и объявили, что через двадцать лет настанет коммунизм. Для особо нетерпеливых придумали целину. К устаревшим слагаемым — советской власти и электрификации — добавили химизацию. Однако химичить становилось всё труднее. Экономика страны, созданная под войну, расплодилась, рубль обесценивался. Чтобы совсем не уронить штаны, большевики снова нагрузили многострадальную народную выю — начали проводить денежную реформу. То, что было рублем, стало десятью копейками, что стоило пять копеек, продолжало стоить тот же пятак. На новые деньги переходили быстро. Обменять крупную сумму было проблемой, да и у кого они были те крупные суммы?

Приходьки запаниковали. Несколько десятков тысяч рублей грозили превратиться в макулатуру. Иван топтал зону в Забайкалье, где-то под Тахтамыгдой и понимал, что глухому ему далеко убежать не удастся. Ударился в бега Федор. Из башкирского лагеря он сумел добраться до родной Баштанки и за месяц до окончания реформы откопал кубышку. Возникла проблема — как распорядиться деньгами. В Николаев ехать Федор не рискнул, справедливо полагая, что там за каждым кустом засады. И подался он в Херсон.

Был конец мая. Весна ударяла в голову. Федор купил бежевый летний костюм, светлые остроносые туфли и шляпу, чтобы прикрыть стриженную голову. Денег не убавилось. Хотелось любви отзывчивых херсонских девчат. Федор пошел в ресторан, заказал бутылку "Столичной", закуску и после первой рюмки захмелел. Ощущение опасности притупилось, а когда пришли лабухи, разобрали инструменты и заиграли что-то из репертуара советской эстрады, жизнь стала казаться простой и легкой. Через стол от него сидели две

молодые дамочки, прилично одетые, вроде бы симпатичные и не развязные. Они пили сухое вино, болтали и помеивались. Федор позвал официантку и заказал им на стол бутылку шампанского и плитку шоколада. Дамы не жеманничали, а скромно и с достоинством поблагодарили. Федор подошел к ним и стал нести обычную в таких случаях чушь. Познакомились, и он пересел к ним, заказал коньяк и икру, словом, стал кутить. Потанцевал с одной, потом с другой. Пять лет он не держал в руках женскую талию, и теперь нежный изгиб спины под легкой тканью летнего платьица и случайное касание груди и бедра будили фантазию, и Федор строил планы на ночь. Однако сбыться им было не суждено. За соседним столом расположилась шумная компания из четырех парней. Они вели себя хамовато, по-хозяйски называя официанток по именам. Один из них стал приглашать по очереди дамочек, которых Федор уже считал своими. Напряжение росло. Парни отпускали двусмысленные шуточки и пожеребачивали. Федор тяжело посмотрел на одного из них, и тому это не понравилось.

— Чего уставился? — парень встал. Федор кивнул в сторону выхода и пошел к двери. Парень что-то шепнул товарищу и тоже направился к выходу. Второй выдержал небольшую паузу и двинулся следом. Федор вышел на улицу и сделал несколько шагов от освещенного входа. “Ну что, козел...”, — парень не успел договорить — Федор вложился в короткий удар и шагнул влево, давая возможность хлопчику как следует упасть. Тот рухнул вперед. Федор перевернулся на спину, взял под мышки, подтянул, прислонил к стене и упал на колени от острой боли в спине. Нашупал ручку засточки, выдернул ее и потерял сознание.

Очнулся он глубокой ночью на больничной койке. Рядом стояли мужчина и женщина в белых халатах.

— Пришел в себя? Вот и молодец, — потом повернулся к женщине и добавил, — пусть поспит.

Сестра сделала укол, и Федор уснул.

Проснулся он уже утром. Перед ним на стуле сидела женщина лет двадцати пяти в халате, наброшенном на прокурорский мундир. "Приплыли", — подумал Федор.

Она представилась следователем прокуратуры. Спросила фамилию, где живет и место работы. Федор представился Станиславом Ильиничем Смирновым, рыбаком из Мурманска, приехавшим в отпуск. Документы у него были еще вчера. Парней этих он видел впервые. Опознать, наверное, сможет. Денег много — так ребята заказов надавали. На обратной стороне листа она написала: Почему документы взяли, а деньги не тронули. Не знает. Может, не успели. Что-то прошлое направило Федора. Она спрашивала резко и подозрительно, отслеживала реакцию и стала раздражать Федора. Наконец пришел врач и сказал, что ему нужно дышать.

ВАРВАРСКИЙ МОСТ 30
Прогулки в часах. Оказалось, что ему пробили чечень, и если не будет осложнений, через три недели его выпишут. Странно, что милицейские спасатели забыли Федор. — Тикать надо." Через четыре дня он начал ходить и наметил подорвать еще через два. Но прокурорша была по своим делам в райотделе милиции, случайно увидела ориентировку и сразу узнала Федора. Долечивался он уже в больнице херсонской тюрьмы напротив церковки, где покоятся прах Потемкина. Только Федор об этом никогда не узнал.

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ 70
Николаев-Костычи, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 3
ПРОГУЛКИ ПО СОВЕТСКОЙ УЧАСТОК СВЯЗИ 7
Федор. Наконец пришел врач и сказал, что ему нужно 25 дыхать.

ОЧАРОВАННЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ 38
Федор. — Тикать надо." Через четыре дня он начал ходить и наметил подорвать еще через два. Но прокурорша была по своим делам в райотделе милиции, случайно увидела ориентировку и сразу узнала Федора. Долечивался он уже в больнице херсонской тюрьмы напротив церковки, где покоятся прах Потемкина. Только Федор об этом никогда не узнал.

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ 70
Николаев-Костычи, 2005

С. Галушкин. НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ. —
Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2005. —
112 с., илл.

ISBN 966-8592-19-0

"Николаевский детектив" — сборник очерков и рассказов о городе полувековой давности, о ныне живущих и о тех, кого уже нет с нами. Это не воспоминания, а лирические этюды об улицах, домах, а главное - о том, чем жили тогда и чем живут сейчас николаевцы, об атмосфере южного города, об уголках, дорогих и близких каждому, кто умеет ценить по капле уходящую жизнь.

ББК 84 (4Укр-Рос) 6-4
УДК 821.161.2

Сергей ГАЛУШКИН

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Комп'ютерна верстка
Коректор

— Д. О. Майдан
— Т. І. Чернова

Здано до набору 20.10.05. Підписано до друку 03.03.06. Формат 60x90^{1/16}.
Папір офсетний. Гарнітура Newtoon. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 7,0.
Обл. — вид. арк. 5,25. Наклад 1000 прим. Зам. № 70.

Видавництво Ірини Гудим

Свідоцтво про державну реєстрацію № МК 3 від 14 травня 2002 р.
54030, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20. Тел. (0512) 35-23-36, 35-20-18

Николаевский Детектив



“Николаевский детектив” – сборник очерков и рассказов о городе полувековой давности, о ныне живущих и о тех, кого уже нет с нами. Это не воспоминания, а лирические этюды об улицах, домах, а главное – о том, чем жили тогда и чем живут сейчас николаевцы, об атмосфере южного города, об уголках, дорогих и близких каждому, кто умеет ценить по капле уходящую жизнь.

ISBN 966-8592-19-0

издательство
ИРИНЫ ГУДЫМ